

Юрий Бригадир Сердце Анубиса

http://zhurnal.lib.ru/b/brigadir_j_a/

Аннотация

«Собака может прожить без сна от 14 до 77 дней».
Леон Уитни.

Содержание

Стая Одинокого Ветра-1	7
Стая Одинокого Ветра-2	21
Стая Одинокого Ветра-3	39
Стая Одинокого Ветра-4	62
Стая Одинокого Ветра-5	78
Стая Одинокого Ветра-6	97
Стая Одинокого Ветра-7	121
Стая Одинокого Ветра-8	133
Стая Одинокого Ветра-9	146
Стая Одинокого Ветра-10	162
Стая Одинокого Ветра-11	180
Первые из могикан	195

Юрий Бригадир. Сердце Анубиса

Для начала, так сказать, от автора... Не то, чтобы положено или не то, чтобы хотелось, а как-то так – в качестве анонса. В одно из послеалкогольных откачиваний с центрифугированием крови и оснотвориванием мозга родилась у меня сама идея книги и потом так и не умерла. Но писать ее сразу как-то незаладилось. Куски, наброски, песни – это все, конечно было и болталось по всей квартире, частично теряясь навсегда. В очередной раз закодировавшись на Энгельса 17, я проработал пару-тройку лет на стройке бригадиром, что позволило мне перед очередным запоем бросить работу и иметь три месяца трезвой и относительно безбедной жизни. В общем, я вытащил все из тумбочек, головы и сердца все что там накопилось. Писа'ть, как говаривал Жванецкий, а может и не он, надо как пи'сать – когда уже не можешь. Я и не мог. Потому, что люди, собаки, женщины терялись, уходили навсегда, забывались... Я не хотел, чтобы они исчезли совсем. Я написал граффити, снимок жизни, скол, раздал его, кому мог, а кому не мог лично – скинул на сервер. «Сердце Анубиса» просуществовало в неизменном виде в Самиздате с 2001 года по 2004. Те, кто мне был дорог, прочитали его, прочитали так же и совершенно незнако-

мые мне люди, огромное им за это спасибо, потому что отличалось та версия чудовищным форматированием и нечитабельностью. Знакомым-то я старался дать в Word'e, оттуда же и конвертировал на сервер, а сами понимаете, какой это есть гемморой и блядство – Word в HTML! Собственно, это и побудило меня переделать книгу частично и уже причесать, чтобы не уставали глаза.

Теперь, собственно, о том, что вы будете, или не будете – (тоже вариант!) читать.))) Это не есть автобиография, но изрядно из нее, родимой. Некоторые люди вставлены изрядно причесанными, некоторые – полностью из пизды на лыжах, некоторые – собраны из огрызков. Так что, не ищите клонов – их там нет. Ну, совпадет что-то там наперекосяк – не ебите себе и мне мозги – это уже не вы, любимые, а литература, а у нее, бля, своя жизнь. Опровержений я писать не буду, поскольку вины моей нет и заслуги моей особой тоже.)))

Теперь, значит, штиль. Не ебёт. Хотите – читайте. Не хотите – не читайте. Я так говорю, говорил и, видимо, буду говорить. Высшее образование, аспирантура, педагогический стаж, 30 человек бригада, сисадмин... В миру я из приличных слов использую только предлоги, а тут – прошу учесть – количество инвективной лексики минимально и только по делу. Шучу, конечно. Примерно так же я говорю в обыденной жизни. Но не в матах дело, а в интонации, ибо и «здравствуйте» можно

так сказать, что по ебалу дадут сразу и без подготовки. А я любимых своих женщин на хуй посылал и имел самые горячие поцелуи в мире.))) Потому как – спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!

В общем, кто зашел в первый раз – прочитайте в первый, а кто во второй – тоже прочитайте в первый, потому что изменено в некоторых местах изрядно, а старый вариант остался только у меня и у тех, кому удалось сохранить этот файл, как память... Удачи!

Бригадир

Стая Одинокого Ветра-1

Что тебе осталось?

*Утром – стон, вечером – плач, ночью –
скрежет зубовный...*

*И кому, кому в мире есть дело до твоего
сердца?*

Кому?..

Венедикт Ерофеев. «Москва-Петушки»

Тогда еще появились самые первые АОУы. Во всяком случае – в моей жизни. Я, как все ученые, иногда имел спирт. Вовка, как все инженеры, где-то пиздил процессоры Z-80. Так у меня появился телефон с патриотичным названием «Русь», спаянный никогда не просыхающим Кулибиным местного значения. Аппарат этот обладал огромным количеством ненужных функций, требовал высшего образования для настройки и среднего – для использования. При потере книжки с описанием команд владелец становился идиотом, а телефон – грудой железа, и если бы не его (телефона!) способность после обесточивания приходить в некое полурбочее состояние, владельцев этого уникального устройства не было бы в живых вообще, а еще больше бы не было в живых Кулибиных. У меня, распиздяя со стажем, случилось именно это – я потерял книженцию со списком команд, которые могли бы

сделать мою жизнь проще и безоблачной. Это сейчас любой мануал со свистом находится в Интернете за 5 минут. Тогда Интернета в народном смысле не было и люди были вынуждены думать. Сопоставлять. Виртуозничать. Бороться с ленью и идти к Кулибину жрать водку в надежде получить еще одну книжку. Но все это гнилая лирика, а правда жизни состояла в том, что мы с АОНам напились, потеряли книжку, обесточились, загрузили дефолтные настройки и уснули. В общем, настиг некий условный ноль. У АОНа это ноль часов и столько же минут, независимо от Гринвича, а у меня – потеря сознания и совести. Еще одно блядство заключалось в том, что дефолтная установка громкости звонка у АОНа-патриота была максимальной. То есть – вышибание звуковой волной перепонки на хуй и это я еще прилично выразился. Кулибин прошивал микросхему сам и очень этим гордился. Его дефолт не совпал с дефолтом, скажем, московской сборки, где жили более нежные создания, воспитанные на Дебюсси и свалил с ног и подбором музыки, и местным колоритом, и военными динамиками в количестве двух. Вот это-то устройство и сработало... Утро красит... блядь, нежным цветом... «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг фаустпатрона»... Дали отдыхает. Я вынырнул из сна мгновенно, но не в ту сторону. Свалил пустые бутылки, схватил гаечный ключ на 500 и приготовился убивать стадо самураев. Их было много. Так много, что я не на-

шел ни одного. Потом гаечный ключ в руке превратился в телефонную трубку.

– ???, – сказал я...

– Привет, Алкаш! Это Вася! Как жизнь?

– Какая это жизнь.... На часах уже, – тут я стал шарить по комнате глазами в поисках чего-нибудь тикающего, – восемь, – примерно столько показывал дефолтный АОН ... (или не восемь? или что вообще сейчас?), – ...а я ни в одном глазу! Ты какого хрена звонишь с утра, да еще и в субботу?.. (Или не в субботу?.. Вообще, есть ли жизнь на Марсе?..)

– Да тут эта... проблема.... Нет, меня похмелять не надо. Или надо, но это второй вопрос... Тебе собака нужна?

– «Ты у нас такой дурак по субботам или как?», – (Это выскочило совершенно наперекосяк и ниоткуда)...

– По субботам, по субботам.... Понимаешь, тут проблема... Брата моего, мента, знаешь?

– Ну... – (Я не знал. Или знал? Или не знал... Ну, хуй с ним, с Марсом... А вот, скажем, на Юпитере?..)

– Они там, на соседней улице старуху мертвую нашли, персональную пенсионерку... Нет, там криминала нет. Но вот у нее было четыре собаки.... Ну, любила она их. Завыли они все четыре ночью. Соседи в ментовку звякнули, дверь взломали.... Умерла, конечно. Но собак-то куда девать? Жалко.... Двух там,

или трех местные старушки разобрали. Но это болонки, или еще какая мелочь.... А тут колли... здоровый такой. Неперсональным старушкам такого не прокормить. Возьмешь?

– Ты что, ебанулся? Куда я его дену?

– Ты же любитель собак. Я же помню... – (Удивительно. Я не помню. А он – помнит.)

– А ты чего? Сам бы взял...

– Мне куда? Я ж сам на птичьих правах – сам знаешь!

...Я знал. У него, у Васи, было до хуя разных жен, и он все время был в ситуации «выгнала-приняла».

– Пес-то хороший?

– Да прелесть, а не пес! Сам увидишь. Шерсть – как у мамонта!..

..Пока я мылся, брился, чистил зубы, пил у холодильника выдохшееся пиво из трехлитровой банки, я все думал умирающей половиной мозга – на кой мне все это надо. Лишние заботы. Лишние проблемы. Лишняя чужая жизнь. Вторая половина мозга, живая, спала.

Но с другой стороны – колли. Я в них души не чаял. У меня в детстве была собака, похожая на колли, помесь, полукровка. На эту морду я мог глядеть часами. А тут настоящий. Насколько я помнил, они бывают рыжие, голубые и черные – я больше всего любил черных. Они напоминали мне послов собачьего мира

— этикие дипломаты в смокигах.

...Я вышел похмеленный в черновом, так сказать, варианте и отправился на соседнюю улицу. По загаженной лестнице поднялся на второй этаж, постучал в обшарпанную дверь. За дверью, естественно, оказался Вася, уже изрядно навеселе. Там же чего-то писал на тумбочке его брательник в милицейской форме. Он помахал мне рукой сначала приветственно, а потом отстранено — дескать, не мешай. Какие проблемы, подумал я и прошел в комнату.

Вася пил с понятыми и меня, конечно, сия чаша не миновала. Я вообще удивлялся способностям Васи нажираться в самых казалось бы неудобоваримых ситуациях. Как-то раз его нашли в сиську пьяным в секретной лаборатории КГБ. Понятые, конечно, были опять же соседи и, судя по рожам, рады были этой попойке чрезвычайно. Вот только откуда водка — мне так узнать и не удалось. Да, в общем-то, и не хотелось.

...Карата я увидел где-то через час. Все это время он лежал на кухне, положив морду на лапы. Он не вставал, не рычал, не метался. Он просто лежал. Я не думаю, что он сильно страдал. Уже потом я убедился — по прошествии времени, что он просто любил думать. Вот так лежать и думать. Это ему помогало жить. Но тогда мне показалось, что он умирает от тоски. Я зашел на кухню и увидел самого красивого пса в мире. Это был огромный кобель колли и когда я увидел, что

он черный – я просто завопил от восторга. На что он только поднял голову и опять опустил ее. Перед такими собаками нельзя стоять. Я упал рядом. Я лег на пол и посмотрел ему в глаза. Зашел Вася и спросил:

– Чего это вы тут валяетесь?

У меня было по меньшей мере сто двадцать восемь вариантов ответа. Я ограничился одним:

– Пошел в жопу!

И Вася ушел, пожав плечами. У него было донельзя развито чувство, которое у всех остальных наблюдается в зачаточной форме – чувство допиздовости.

Я лежал рядом и смотрел ему в глаза, которые сначала были закрыты. Потом я начал говорить. Меня провало. Я говорил ему, что весь этот блядский мир – это только еще одна станция метро по пути в другие миры, что собаки и люди – близнецы-братья, что есть только одна правда – правда жить и что если есть бог, то он сделал правильно, послав мне такую замечательную собаку...

Карат молчал. Он долго молчал. Он даже не открывал глаза. Потом он открыл их. Не просто открыл. Он их открыл, чтобы посмотреть на меня. И я, пьяный, понял это. Я увидел глаза бесконечной, потрясающей глубины. И когда я утонул в этой глубине, я услышал голос Карата:

Он издал глубокий горловой звук. Звук, в котором смешались удивление, успокоение, любопытство и

ирония. Не просто ирония – Ирония с большой буквы. Так, наверное, относятся большие собаки к маленьким щенкам. Я не был щенком. Но мне это отношение показалось правильным. И я засмеялся. На что Карат наклонил голову набок (если б вы знали, как я люблю это собачье движение!) и улыбнулся.

Собачья улыбка похожа на улыбку дельфина... И они обе похожи на улыбку бога...

Как вы думаете, после этого я мог оставить Карата умирать в этой мертвой квартире?!

Есть такая херня – любовь... Когда не хватает воздуха...

Я помню как привел Карата к себе домой: Он пришел, грустно, мощно и, как камень, рухнул на пол. Я сел рядом. Я не мог ничего говорить – я был безобразно пьян. Что я мог сказать? Да, я улыбался, пел песни и даже поцеловал Карата в его черную морду. Но я не мог сказать ничего осмысленного. Потом я уснул – тяжелым сном алкоголика:

Мне снился лес: Это были просто глюки – и в этих галлюцинациях чаще я видел крылатых черных псов: И это было тысячу раз за ночь. И еще я помню – запах мокрой шерсти.

Утро было чудовищное – такого утра я никому не желаю. Я видел висячие сады Семирамиды, где в изумрудных листьях висели умершие обезьяны и их мертвые руки ласкали мои виски. Я был изумрудным пят-

ном всего сущего и не мог ожить. Я был камнем из камней и умирал, оживая. Я встал только потому, что рядом было пиво. Восемнадцатым чувством я вспомнил, что Вася, укладывая меня спать, сказал мне, смеясь:

– Слышь, чудовище, пиво под подушкой!

Утром, трепеща, как рыба, я поднял голову и засунул туда руку.

Я лишний раз узнал, что Вася – самый лучший друг!

Когда я выпил пиво – я понял: мир, вроде, есть!

Еще я понял: мир, вроде, для меня!

И еще я понял: может быть, я для мира!

Я долго лежал, ничего не понимая. То есть, пытаюсь понять. В воздухе кружились снежинки и ангелы, мертвые обезьяны и лилии. Я очень честно пытался ожить. Иногда это удавалось. И тогда я вздыхал – глубоко и страстно.

Очень нескоро я понял, что я не один в этом мире. Нет, слышать я ничего не слышал. Просто было ощущение чьего-то присутствия. По первости я списал это на похмелье. Мертвые обезьяны и лилии опять кружили надо мной и я начал понимать, что пиво – это, конечно, хорошо, но организм требует...

И вдруг услышал дыхание!

Повторяю – дыхание. Так дышат ангелы и умирающие. Часто, горячо и вдохновенно. Я повернул голову и увидел собачью голову потрясающей красоты.

– Карат! – выдохнул я и провалился в нежность.

Я увидел самое красивое движение в мире – как собака наклоняет голову набок! Он смотрел на меня с любопытством и нетерпением. Он взвизгнул – почти неслышно. И я понял – хочет на улицу.

Вставать вообще не просто. А вставать после такой ночи – непросто вдвойне. Я с большим трудом сел на кровати и спросил Карата:

– Может, сам сходишь?

Он переступил лапами и я понял – он просто хотел со мной со мной пообщаться.

Мы вышли с ним в мир. В мире были дети, коляски, падающая листва, звуки ДДТ и еще что-то, с большим трудом осознаваемое. Я сидел на лавочке, пил вино из горла, а Карат лежал рядом, положив голову на лапы и изредка поводил ушами. Я был в полной гармонии. И Карат, похоже, тоже. Во всяком случае, он не пытался привлечь мое внимание. – Слушай, Карат, а у тебя ошейник был? – вдруг спросил я его. Карат поднял голову и посмотрел на меня. Что за каряя глубина было в них! И я вспомнил из далекого детства...

Я родом с Амурской области. Там ветреные зимы без снега и лето дикой жары с постоянными ливнями. А еще там две огромные реки, одна с водой серо-желтого оттенка, а вторая – чайного. Та, которая чайного, говорят, приток первой. Ерунда это. Видели бы то место, где они встречаются... Вялая теплота ее и мягкое течение вдруг разом приобретают жизненную силу. А та,

вторая, валит свои воды так, что и не чувствует мощи своей и разом подчиняет себе все прочие потоки. Так оплодотворяют свежие привозные африканские львы выдохшихся от инцеста зоопарковых львиц.

Тогда, давно, в моем детстве, еще ходил через чайную паром. Не паром с канатом или там тросом, а паром – огромное судно, на котором вмещалось несколько десятков грузовых машин и еще целая куча народу. И даже эту махину, пока она шла через реку, сносило – черт знает куда. А я помню, бывало, стоял и смотрел в воду с высоты палубы, и мне нравилось видеть, как рождались на ее поверхности буруны и разводы, мягкие глубинные взрывы шли из ее недр и растекались широкими пузырями, что снова умереть и дать жизнь новому водяному кратеру. Я ничего не знал тогда ни о физике, ни о турбулентных потоках, ни черта я не знал тогда, но вид воды завораживал меня и больше всего, я помню, она напоминала не воду, а диковинное, слабо кипящее коричневое масло. Карее масло. Вот такое, как глаза у Карата...

... Ошейника, судя по всему, у Карата не было сроду. У таких собак не бывает ошейников. Ни к чему они. И я больше ничего не спрашивал у него. Просто сидел и смотрел прямо перед собой. Гармония, понятно, уходила с каждым глотком вина по мере его убывания, ибо гармония – вообще вещь тленная. Стоит ее только ощутить и она уходит. И немало требуется случайно-

стей, что бы она снова возникла... Я встал, аккуратно поставил бутылку на лавочку... Хотел было окликнуть Карата, но он уже смотрел на меня...

– Пошли, Друг.

Я так и сказал – «Друг». Или даже – «ДРУГ». Он встал, махнул хвостом, и мы побрели. Мы вернулись к себе домой, но не просто так – я купил Карату в мясном павильоне отличных, почти не обрезанных ребер с порядочными шматками мяса, висящими, как розовые лепестки растений-паразитов, а себе, само собой, бутылку водки и булку хлеба. Лук, насколько я помнил, валялся где-то на дне холодильника – две больших крепких головки. Еда в таком наборе для человека обычного – ужас, ползущий на ложноножках. Но я – привычный, да и денег уже было в обрез.

... Одно ребро я оторвал и положил перед Каратом сразу – на пробу. Пробы не вышло. Карат сожрал ребро практически мгновенно, перехватывая мощными зубами кость неведомого животного с еле видимым усилием. Посмотрев на него, я еще раз покачал головой и оторвал второе ребро. Только тут я вспомнил, что Карат, скорее всего, не ел целые сутки. А пил ли?

Мне стало стыдно. Конечно, собачьих чашек-мисок в квартире у Федора, где я временно жил, не было. Я достал тарелку, с сомнением покрутил ее, посмотрел на Карата, достал железную миску, тоже сунул на место и вдруг вспомнил, что под кухонным столом валяется не-

большой эмалированный тазик. Для собаки такого размера – нет ничего лучше. Я нагнулся, вытянул тазик, выкинул оттуда двухдохлых тараканов, сполоснул под краном и наполнил его холодной водой.

Мать твою! Так собаки не пьют. Так вообще не пьют животные. Карат сделал из своего языка почти невидимый вентилятор и мгновенно вылакал весь тазик, расплескивая воду на полметра вокруг. Потом сел, облизал свои черные губы языком и улыбнулся.

Тогда я тоже сел рядом с ним, обнял его и прошептал:

– Прости засранца, Карат. Я совсем забыл о тебе...

Но время шло, и надо было восстанавливать гармонию одним из известных мне способов.

Можно было бы, например, выпить бутылку водки в два-три приема и на этом успокоиться. Известная доля гармонии в этом, конечно, есть. Но в этом нет ничего интересного и, самое главное, запоминающегося. Фактически, это похоже на принятие лекарства. Ужираться быстро, а потом тупо переваривать водку я не любил, а любил я медленно поглощать алкоголь вместе с литературой.

Я пошел в ванну, открыл краны, отрегулировал температуру и вышел в комнату за книгой. Пока шумела вода, я шарил глазами по полкам.

Я не хотел Борхеса – сегодня он был слишком сложен для меня. Он вообще желателен после шампан-

ского. Или даже – вместо шампанского. Я не хотел и русских классиков – это тяжело и усугубляет опьянение. Достоевский или Толстой – это для пива. Или даже после пива. Я было взял с полки Диккенса, но потом со смехом поставил обратно. Извини, старина, ты под водку, да еще с луком никак не катишь. Мне нужно было что-то с настроением, но без особого смысла – как акварель ребенка. Стихи я не хотел никакие... Ритм при водке должен быть рваный, как бег по пересеченной местности и непрекращающийся. А любая рифма имеет свойство подравнивать человека, убаюкивать его, нивелировать, приводить в состояние причесанности... Оно нам надо? Оно нам не надо.

Вода лилась и лилась, а я все не мог выбрать. Чтобы не терять время, я сбегал на кухню, очистил луковицы, нарезал их тонкими, распадающимися кружочками и слегка сбрызнул их растительным маслом – слегка, потому что больше масла не было, и я вылил все – буквально несколько капель. Ремарк? Да при чем здесь Ремарк? Я круто посолил кружочки крупной солью, нарезал хлеб в другую тарелку и разместил кусочки горбушками вверх – так удобнее брать. Веничка Ерофеев? Нет, не Веничка. Я нашел рюмку, единственную рюмку в Федоровской квартире, я достал из холодильника трехлитровую банку холодной воды – она стояла там уже неделю и была сказочно холодна – сгрузил все это на две табуретки и отнес в ванну. Стейнбек? Вот,

уже ближе к истине. Разумеется, принес я туда и бутылку «Пшеничной». Вода уже почти выливалась, но я быстро устранил это несоответствие. Но книга, книга, блядь, должна же быть книга! Я вернулся в комнату, и вдруг меня осенило. Да, да, да. Хемингуэй! «Фиеста»! И ничего больше! Я взял с полки желтоватый томик и пошел в ванную.

... Есть такие вещи, которые постигаешь только на уровне какого-то подкожного восприятия. Как музыку. Ее ведь только так и можно разделить – на хорошую или плохую. И все. А джаз там это, или блюз, или Первый концерт Чайковского, или «Таганка» – дело восемнадцатое.

Я пил. Горячую воду – всей кожей, водку – всеми вкусовыми сосочками, книгу – всем своим расплавленным мозгом. Технология чтения в ванной не так проста, как кажется. Одна рука всегда должна быть сухой, ибо намокшая книга – преступление перед самим собой. Засыпая или умирая – сохрани книгу, не дай ей умереть вместе с собой. На какой-то, особо летящей странице, мне пришлось выбросить руку в сторону и отправить пьяную книгу в мир живых и бодрствующих...

...Мне снились какие-то быки и пикадоры, потрошенные форели и бурдюки с вином, и еще я жалел испанцев, потому что у них было холодно. Холодно и мокро. Мокро и холодно. И как-то твердо и неудобно...

Стая Одинокого Ветра-2

– У некоторых людей есть бог, – сказал я.
– Таких даже много.

Эрнест Хемингуэй. «Фиеста (И восходит солнце)»

Я открыл глаза, скользнул куда-то вниз и вдруг набрал полный рот воды. Отплеываясь и матерясь, я попытался вскочить... Куда там! Ноги упирались в какое-то скользкое скошенное дно... Я лежал в ванне, донельзя остывшей, и медленно приходил в себя. Посмотрев в сторону я увидел куски хлеба, пустую трехлитровую банку и бутылку с остатками водки. Судя по запаху, где-то еще должен был быть лук. Но его не было видно. Только тарелка с жирными пятнами. Зато во рту было подобие советской овощной базы, на которой праздновался день работника перерабатывающей промышленности. Я вдруг вспомнил почти все.

«Сколько ж время?», – подумал я. Но ответить на этот вопрос было не просто. Для этого надо было хотя бы вылезти из ванны. Я с трудом сел и попытался включить горячую воду. Не сразу, но пошла. Правда, сначала омерзительно холодная, потом терпимо теплая, а потом засверкал, заискрился горячий бурный поток. Я понежился ровно столько, чтобы сбить озноб.

Потом закрыл кран, вытащил пробку и огромной трясущейся каракатицей, соскальзывая и снова упорно выкидывая свои щупальца с присосками, вылез, стараясь не пошибать на хрен обе табуретки с остатками трапезы.

Я вытерся хуй знает чем – какой-то тряпкой, лень было ее разглядывать, открыл дверь и стал собирать островки одежды. Когда я, в основном, облачился, то нашел взглядом электронные часы с зелеными косыми цифрами. «Четыре, твою мать, чего?», – подумал я...

В комнате было почти тихо. Тихо, если не считать двух абсолютно не резонансных дыханий. В одном углу перед дежурной костью спал Карат, а на моем любимом диване я увидел омерзительную картину храпящего Васи, одетого и в ботинках.

Этого я никак не ожидал. Не было среди моих воспоминаний никакого Васи в ближайшие несколько часов. Я, вроде как, лег в ванну и, вроде как, встал из ванны. Какие еще на хрен, Васи! Но Вася был. Он мерно засасывал воздух и затем, превратив его в кошмар, выталкивал его из легких с самым противным в мире звуком. «Убить урод, что ли?», – гуманно спросил я сам себя и не нашел ответа... Колбасило. Ломило виски. Причем, если в правый был вкручен саморез на 25, то уж в левый-то какая-то пизда загнала не меньше чем на 60!

Тогда я вернулся в ванную, взял с табуретки бутылку, поболтал и нашел там призрачное флуоресцирующее

сияние – грамм эдак на 75. Но это было уже неплохо. Рюмку я не нашел, как не старался, поэтому выпил из горлышка и быстро, как умирающий – кислород, запил водой из под крана. Я сидел на краю ванны, боролся с тошнотой и изредка, макнув ладонь в ласковую струю, шлепал ею себя по роже. Капли по всем законам физики иной раз катились вниз, и это было до ужаса приятно, когда они бежали по шее, груди и так, до самого пояса... Но иногда они катились в сторону. Что-то было не то сегодня с физикой...

Я вернулся в комнату, пнул Васю, на что он прореагировал утробным хрюканьем и переворотом на спину.
– Алло, гараж! – громко позвал я.

От этих слов поднял голову и Карат, грациозно поднял голову, зевнул, встал и, далеко вытягивая передние лапы вперед, потянулся. Роскошный его хвост с готовностью сделал два широких маха, дескать, что будем делать, приятель?

– Сейчас, Карат, только выясню – откуда это животное...

Вася поднимался тяжело и неотвратно, как перевернутая вверх килем яхта. Когда он сел полностью, голова его еще покачивалась, а глаза были похожи на сломанный объектив – фокуса в них явно не наблюдалось, а диафрагму там никто сроду не менял. Я, видимо, медленно проявлялся в его глазах, как фотопленка. Когда узнавание заработало, его рот растянулся в

резиновом подобии улыбки. Инсайт. Озарение. Яблоко Ньютона и все такое.

– А, Алкаш! Где это мы?

– Где я – я знаю. Я у себя. В смы... в смысле – у Федора. Ты сюда как попал?

– Так мы же вроде вместе бухали? Так, – поднял он вверх указательный палец и полез во внутренний карман страшно измятого плаща со следами закуски, – щас посмотрим!

Глупое выражение его лица сменилось на вдохновенное, когда пальцы что-то нащупали. Гудини рядом не стоял, когда я увидел искрящуюся бутылку без всяких признаков этикетки.

– Я тут, Алкаш, вчера султыгой запасся! Все сквозь сон чувствовал, как на ребра давит. Хуйня всякая снилась!

Убивать его я уже не собирался. Во всяком случае, отложил это дело на неопределенное время. Когда же он из другого кармана вытащил почти приличное яблоко, я почувствовал что-то очень напоминающее соответствующую заповедь.

Табуретки из ванной перекочевали в комнату, яблоко мы честно разрезали на две половины, в двухлитровую банку я набодяжил морсу из остатков варенья, забытого невесть когда в холодильнике. Ах, как вставало сегодня солнце, блядь! Как бились его лучи в эти бриллиантовые окна, как охуевали птицы и как ро-

ждался новенький, с розовой кожицей день! И было Васе вдохновение, и была мне радость понять ближнего своего и себя понять, далекого, исчезающего на горизонте!!!

Вася:

– Я вот смотрю на Карата и вспоминаю одну лабуду. Было это то ли в 82-ом, а может в 83-ем. Я тогда в зоне БАМ работал. Не на зоне, Алкаш, а в зоне. Я ведь не всегда попивал водочку и прочие ноктюрны. То есть – нектары. Когда-то я был ученым и разрабатывал в этой зоне чего положено. В частности, это... кормпроизводство. Это, паря, север Амурской области, Тындинский район, бывший Джелтулакский. Я там зубы потерял. И обошлись они мне по старым ценам в 96 рублей. Если по 3,62, то получается 26 с лишним бутылок водки. А водка... э-э-э, о чем это я? Ах, да, о собаках! Друг у меня там на Камацу работал – рассчитал тайгу под дражные полигоны. Камацу видел? Ну, в общем, танк, только еще больше. Если на него ствол поставить – можно было бы и Гитлера в виду не иметь. Он по тайге идет, как по асфальту. Клювом такую канаву делает – «Тигр» не пересечет. Крепкий, зараза. Валится если на кабину – даже не мнется. Экипаж у него три человека. Менты если к ним подходили – они даже ухом не вели. Что они, на небоскреб полезут? А если полезут – кто их снимать будет? Обратнo ж тайга. И прокурор – медведь. За водкой они на нем ездили из

тайги. А водка... Ах да, я ж про собак. Друг мой направлялся на работу, я к нему в кабину забрался. И довез он меня, напролом через тайгу, туда, куда никто никогда и ходить и ездить не думал. По грибы я ломанулся. По маслята. Они, паря, очень недурственно растут по старым, заброшенным, лесным дорогам. И искать их не надо, их видно за километр, и быстро очень. Я шляпки только брал. Ведро там, два – куда больше? Ма-аленькие такие. Люблю я их. Я больше их только карасей люблю. В смысле, жареных. Под водочку или под спиртик гидролизный таежный. Да, да, я помню, я про собак. Ну вот, набираю я ведро чего хотел. И иду обратно. Тропинки нет, но заблудиться там невозможно, поскольку долина реки довольно большая, а по реке, хочешь – не хочешь, а к деревне выберешься. Не к одной, так к другой. Смотрю, ДОТ. В смысле, долговременная огневая точка. Вот ты глаза щас разинул, а зря – их в той тайге навалом, поскольку Китай – рукой подать. И страшная это военная тайна. А ДОТ, Алкаш, новый, бетон свежий и выходят из него солдатушки-бравы ребятушки – пьянее пьяного. С ними прапорщик – Палыч. Знал я его, они как-то в деревне пьянствовали, в смысле, стояли пару недель. Потом исчезли. Я, конечно, спрашиваю – какого хрена здесь делает ДОТ. Я еще когда спрашивал, подумал – не надо бы. Это непосильный умственный труд для прапорщика. Но, оказалось, я его нисколько не обескуражил. Па-

Палыч сказал, мол, «мне насрать» и «давай выпьем». Пили они нечто неподдающееся разумению. Брагу из кормовых дрожжей. Эта штука гаже обычной браги. И, вообще-то, из нее самогон бы гнать надо, в чистом виде она невозможна. Но это ж время, да и где ты там в тайге аппарат за собой таскать будешь. Водка – роскошь для тех мест. А водка.... Да, да, я помню, я о собаках. Какую-то линию обороны они там тянули и конца ей не было. Денег же тогда на армию не жалели и эти ДОТы ляпали, выполняя волю очередного идиота. Кстати, многие из них ушли под землю – болотистая там местность. Да нет, ДОТы, а не идиоты. В общем, грибы мои съели полусырыми, брагу выпили, песни орали. Как от них ушел, когда – не помню. Очнулся под тальником на рассвете от холода, встал – берег какой-то, озеро, похоже. Но ведро при мне и в нем банка пол-литровая с полиэтиленовой крышкой в какую-то ветошь завернута – брага эта, на дорожку Палыч удружил. Как не потерял – не знаю. И, помнишь, я говорил – заблудиться невозможно. Это правда, только надо узнать, в каком месте долины ты находишься. А для этого нужно забраться повыше. Выпил я брагу и полез вверх по склону. Выползаю и диву даюсь – не узнаю места. Вправо, влево головой кручу – не узнаю мать твою, хоть убей. Тут дело вот в чем. Что такое золотой прииск в тех местах, если вкратце? Вот была река. Ну, давно, в смысле. Потом ее не стало. Драга прошла. Драга – это та-

кое чудовище, что лучше не смотреть. Она любит воду. И, естественно, по ней ходит. И каждый вечер к ней приезжает ГАЗ-66. И у него два отличия от других 66-х – это отсутствие каких-либо окон у фургона и пистолет у сопровождающего. На этом фургоне увозят золото в шлихах. Если ты его в такой форме не видел, ты его, паря, за золото никак не примешь, потому что ничего золотого в нем нет – так, серость какая-то. Оно же золотом становится только на Новосибирском аффинажном заводе. И в определенное время, скажем раз в полгода, его туда возят на самолетах и охраняют как звери. Но это так, к слову, речь о драге. Ей перед работой нужен полигон – участок долины. Расчищают его мощными тракторами типа того же Камацу, а потом пускают воду. Опосля чего заходит туда драга. Эту громадину, высотой с пятиэтажный дом, питают электромоторы. Для чего надо подвести ЛЭП и растянуть драгу на тросах. Но, поскольку золота там на единицу породы немного, она проходит по одному месту много раз. После ее прохода остается лунный пейзаж, поскольку она хватает ковшами породу и выкидывает каменюги назад, эдак элегантно, по-женски, крутя задом. И получаются, как местные это называют, отвалы. Реки, естественно, в этом месте не остается, но остается серия мутных озер (говорят, до шести метров глубиной, но я таких не встречал). Это еще не конец реки, поскольку многие рыбы и так живут – караси там,

гольяны, пескари и прочая сволочь. Долина длинная и драга уходит вперед на много километров и лет. За эти годы оседает муть, вырастает тальник и получается, паря, обалденный пейзаж из бывшего лунного – много маленьких голубых пятачков, иногда с приличными пляжами и роскошными кустами. Если б не гнус – был бы рай для туристов. И так до горизонта. Ходить по такому месту – упаси боже, но водку пьянствовать – лучше не придумашь. А водка.... ну да, я помню, я о собаках. Так вот, шарю я глазами по этим озерам и ни черта не понимаю – куда и что. Но рядом высится сопка. Острая такая и довольно высокая – метров двести. Ну, думаю, надо забраться, посмотреть, поди разберусь. И забираюсь на самый верх. Далеко видно. Ну там я сразу сообразил, что к чему и даже посмеялся – как я мог заблудиться. Надо вон в ту сторону и не так уж долго. Устал я, Алкаш, сел на травку, закурил остатки махорки и смотрю вниз. Далеко видно. Далеко. И красиво все. Сижу, размышляю – вон там, на том пятачке, хорошо в одиночку рыбку половить. Там и карась должен быть. Под водочку, конечно. А на том озерке – неплохо было бы с девками, там кусты, пляж неплохой и мелко – дно видать и тоже песчаное. Сухое винишко там, шашлычок. А вот та заводь – под пиво в самый раз – там глубоко, понырять можно, а по берегу камни крупные, а один валун – прямо как столик. А вот там вообще сказка – заросли, джунгли какие-то, и как за семь лет такое на-

росло – непонятно. Хотя, может, прошлый раз не зацепила драга это место, похоже на то. Там, Алкаш, как бы труба образовалась – отвал справа, отвал слева, оба тальником заросли до ужаса и уходит эта труба, изгибаясь, метров на сто пятьдесят, а дальше тальник как бы лесом становится и не видно ничего – только пятно зелени, третьим отвалом ограниченное. А на входе в эту трубу – вроде как что-то шевелится. Присмотрелся – собаки, много, штук десять. А потом гляжу – еще подходят. Подходят к этой трубе, со всех сторон. Видать у них там дневка, возвращаются они то ли с охоты, то ли еще откуда-то, не понятно. Утро-то раннее. Я было подумал – волки, но нет, смотрю – разноцветные все, да и ростом разные. Явно собаки. У горловины трубы так эти десять и остались. А подошло и там исчезло около тридцати. Да я столько собак разом и не видел никогда! Мурашки у меня по спине побежали. Зачем, откуда, почему такая стая? Я потом местных спрашивал – ничего они не знали. Двое вспомнили – да, исчезают собаки из деревни время от времени. Ну так – тайга рядом, мало ли что случается. А стай собачьих они не видели. И только Мишка-браконьер сказал, что был в шестидесятых, что ли, годах в этих местах питомник для служебных собак, прямо в тайге и довольно глубоко. Один раз он видел на лесной дороге колонну грузовиков. В них везли собак. Много собак. Куда потом делся питомник и сами собаки – он не знал. Потом мы с ним

ходили в это место. И ты знаешь – вроде все помнил, а трубы этой не нашел, как сгнула. Да еще кобель его, Дик, не пошел с нами дальше этой сопки. Уперся кобель, и ни в какую, а потом убежал в деревню. Лупил его потом Мишка. К чему это я? Ах, да, о водке....

Я:

– Я раньше девочек молоденьких любил. Идет она такая пышная, ранняя, бутончик, одним словом и тень за ней особенная, перламутровая и глаза свежие, влажные и кожа – под ней видно как пульс бьется тоненькой жилочкой. Красиво, да? Ерунда все это, это я лет только в 25 понял – ни черта в них нету, и ходить они не умеют – походки еще нет, нет, понимаешь ты, походки. Знаешь, как в поговорке – не идет, а пишет. Женщина совсем другое дело. Она смотрит по-другому и глаза у нее не просто влажные – чувственные у нее глаза, усталые. От того, что жизнь скотская и времени у нее уже осталось – до перекрестка дойти, а там уже и кожа дряблая и мемуары только писать. Она, когда женщина, 25 лет там, 30 лет – такую походку вырабатывает – плакать хочется, и такая в тебе сексуальность просыпается, что идешь ты за ней, как за редкостью музейной и душа твоя, как новая российская монетка с двуглавым, неизвестно откуда вылетевшим орлом. И истина, паря, не в том, чтобы с ней переспать, а в том, что тень от нее тяжелая по земле плывет и мятой перечной пахнет. Тихо, тихо, петь не надо, еще и

не рассвело даже. Вот лифт включают, тогда и попоем. Причем тут лифт? А хрен его знает... когда лифт работает – вроде уже день. Что-то ты уже тяжелый. Вообще я знаю несколько степеней опьянения. Что значит «легкая», «средняя», «тяжелая»? Мы с тобой не в трезвяке козлам в погонах заясняем. Первая, собственно, возникает еще до принятия, потому что желудок начинает вырабатывать соответствующий фермент, который должен эту молекулу разложить вдребезги, но он сам уже действует как грамм сто – сто пятьдесят. У нас, когда я еще студентом сельхоза был, все время за столом непьющий парень отирался и просто-напросто от этого фермента через пару часов косел до неприличия. Вторая степень мозг не трогает и выражается лишь в покраснении либо побледнении хари. Ее отличительная особенность (степени, конечно, а не хари) заключается в непреодолимом желании выпить еще. Третья степень – самая интересная. Интересна она тем, что, например, подавляющее число философских произведений написано именно в этой степени. Ты в ней искрометен и свеж, талантлив и красноречив, любопытен и в меру развязен, тебе ничего не надо придумывать – все твои речи боговдохновенны и точны. Однако, буквально через грамм двести – триста начинаются ужимки с прыжками и дальнейшая градация теряет смысл. Так что целью Homo Sapiens является продление и всяческая защита именно третьей сте-

пени опьянения, как наиболее творческой...

Утро мы встретили у открытого настежь двустворчатого окна – я, Вася и Карат. Два человека курили, а собака, поставив передние лапы на подоконник, задумчиво смотрела вдаль, изредка кося на нас карими глазами...

– Слушай, Вася, тебе не на работу?

– Не. Мне хуже. Мне сейчас к Светке на разбор полевых. Где был, что делал, когда это прекратится... песня номер раз. Когда у тебя хозяин приезжает?

– Должен через неделю. Да скорей бы, надоело, что я тут, собака что ли, дом охранять! Да и Карату в лесу куда интереснее. Что он тут говном дышит?..

Карат с готовностью повернул голову в мою сторону, услышав свою кличку. Я потрепал его по голове и погладил. Холодный нос ткнулся в ладонь.

...Я жил в этой квартире на правах старого уже не друга, но еще хорошего знакомого Федора, восходящей научной звезды, отправленного на два месяца изображать ученого в Англию. Почему он остановил свой выбор на мне, я не знаю, но мне было ближе до работы, и я согласился. В квартире у Федора еще было почти пусто – он заселился незадолго перед отъездом, мебель старую оставил на месте, а новая была в проекте. Так что две табуретки и единственная новая вещь – диван в комнате были почти всей мебелью. Была еще одна причина моего здесь проживания – квар-

тира эта была не совсем чистая и, чтобы не попасть под случайность, Федор был вынужден поселить человека с нужной в данном случае легендой. По легенде я был дальний родственник с криминальным прошлым и настоящим. Вид мой его, в этом смысле, вполне устраивал, поскольку незадолго перед моим переездом сюда я в пьяном виде ударился об косяк переносицей. Уснув вечером со сносной физиономией, к утру я проснулся с удивительными и абсолютно симметричными синяками под обеими глазами. Два дня гематомы набирали интенсивно-фиолетовый цвет, а после цвет пошел на убыль, сделав из меня великолепный образец сюрреализма. Улыбаясь, я показывал золотую коронку на правом клыке и, в сочетании с цветными тенями вокруг глаз, внушал если не ужас, то, во всяком случае, небольшой шок. Перед отъездом Федор огласил мою легенду всем нужным и ненужным людям и в полном спокойствии отбыл к берегам туманного Альбиона. Небольшое недоумение у меня вызвал тот факт, что легенда вкупе с моим новым имиджем произвела впечатление даже на людей, отлично меня знавших. Магия, однако! Но Вася был настолько далек от иллюзий и неврозов, что даже не улыбнулся, увидев меня и мы сразу начали обживать пространство с помощью водки. Через неделю у квартиры была самая восхитительная в мире репутация, а после того, как на шум были вызваны менты и одним из них оказался все тот же Ва-

син брат, жилье обрело в довесок и славу непотопляемости, потому как в пьянку был вовлечен весь наряд милиции и даже недовольные соседи. Магия, однако, еще раз! Забегая вперед, должен сказать, что пятно позора расстроенный Федор смывал не один год.

Сам же я жил в полном смысле в лесу. В ожидании человеческого жилья молодого специалиста поселили хуй знает где – на мехдворе, в старом бараке, пропахшем мышами и пылью. Барак когда-то был чем-то вроде конторы, судя по мебели и расположению комнат. Три четвертых барака было занято семенами, лабораториями и складами. Одна четвертая была, в общем-то, тоже складом, но складом старой мебели и была наполовину пуста. В ней то и селили всяких новеньких – иногда на месяц-два, иногда на полгода-год. Я в этом смысле отличился. С завидной регулярностью меня отодвигали назад в очереди на нормальное законное жилье после очередного пьяного дебоша. И уплывала, в какой уже раз, от меня самая заветная мечта советского человека. Плюс в жилье был всего один – полное отсутствие квартплаты. Минусов было – хоть отбавляй.

Но, блядь, чем же я не молодой специалист! У каждого явления можно найти положительные стороны, даже если их нет вообще.

Барак был последним зданием в этом городке. Дальше была колючая проволока на огромных столбах и

лес. Когда-то вся территория междвора принадлежала давно ушедшей в небытие военной части. Но часть строений, проволочное ограждение и огромное количество бетонных подземелий осталось.

Первым делом я пересортировал всю мебель, выбрал, что мне было нужно, а остальное спрессовал в угол неразъемным кубом. Минимальный набор инструментов у меня был и я за три дня забабахал себе шикарный комплект мебели под названием «Мечта студента». Там были: стол письменный, стол кухонный (повыше и прибитый к стене насмерть), стол обеденный (поменьше ростом, но побольше площадью), шкаф платяной навесной (прибил гвоздями на 250, чтобы не занимал пол), шкаф книжный, ложе (иначе не назовешь, потому как это был стандартный полупутораспальный матрас на чурочках), стол журнальный (он же прикроватная тумбочка) и табуретки за неимением стульев. В соседнем складе я получил кучу старых занавесок, прибил на окна (по назначению), на стены (гобелен) и посреди комнаты к потолку (виртуальные стены). После нехитрых манипуляций я, сраный старший лаборант, оказался владельцем двухкомнатной квартиры с кухней. И запил я по этому поводу горькую весьма успешно, ибо ночью мне не мешал никто, поскольку до сторожа междвора было 100 метров, а до следующего человека неизвестно сколько. Вася, талантливый собутыльник, оказался в этот период на

моем жизненном пути и вскоре пьянки происходили сообразно с популярным графиком всех российских сторожей «через два дня на третий». Первый день – тетя Клава (пьянка в одиночку, ибо все равно никого не пустит); второй день – дядь Коля (умеренное количество алкоголя, сам пьет из вежливости); третий день – Мирич (неумеренное количество алкоголя, ибо пьет из радости, и на баяне играет, и друзей как собак нерезанных, и здоровьем бог не обидел); опять первый день (заслуженный отдых!).

Во дворе особо менять было нечего, я только сделал незаметный лаз в проволочном ограждении для прохода в лес и там летом курил на пенечке, а зимой катался на лыжах.

Карат, конечно, там приживется еще как. Я уже видел как он носится по лесу. Проблема у нас с Каратом была всего одна – как его накормить. Мясо я себе позволить мог ограниченно. Но очень давно когда-то я вроде читал, что овчарки едят овсянку. Я посмотрел на Карата и улыбнулся.

– Слушай, Вася, как думаешь, будет он овсянку жрать?

Вася почесал за ухом.

– Да поди будет, чего ему. Слушай, а что за день сегодня?

– Говно день. Понедельник. И мы уже косые. А мне, между прочим, на работу...

Я отошел от окна, сел на диван. И услышал, как лифт повез первого на сегодня пассажира.

Стая Одинокого Ветра-3

*Вот человек. Он всем доволен.
И тут берет его в тиски
Потребность в горечи и боли,
И жажда грусти и тоски*
Игорь Губерман

Три дня я вообще не пил. Событие это для меня тогда было грандиозное. А что, спросите вы, замлетрясение, цунами, язва пищевода? Нервное истощение, потеря сознания к ебене матери, или взрыв на пивкомбинате? Да нет, не то, не то и не это. Я сдавал экзамен.

Кандидатский экзамен – вещь, сама по себе мало что значащая, так, рядовая ступенька для взлета учебного. Но это только с фасада. Призрак истины был в другом – уж так повелось в Союзе, чтобы, значит, каждый аспирант обеспечивал зарплатой кучу преподавателей. Первый, самый главный и страшный экзамен – это философия. В ее марксистском понимании, конечно. Перед сдачей экзамена будущий кандидат наук должен был написать реферат, одно название которого вызывало приступ даже не тошноты – это еще можно пережить, а абсолютного недопетривания. Я, например, писал реферат, в коем раскрывал роль материалистического фактора в научном познании. Темы ре-

фератов могли быть совершенно убийственными, глобальными, фантазмагорическими, невозможными для простого смертного. Прикидывая на себя некоторые из них, я с ужасом вдруг осознал, что до всего этого человечество просто не доросло. Но ничего страшного не происходило, потому как есть развитие разума на планете, а есть молчаливое понимание друг друга с полуслова. Профессор хочет эээ... кушать, аспирант хочет избавиться от профессора навсегда, на весь этот спектакль страна готова выбросить деньги. На ветер, блядь.

Я залез в библиотеку, выписал чего-то древнего, взял с полки первоисточники... Вообще, какая пизда ввела в обиход это идиотское название – «первоисточники»? Библия отдыхает после этого слова... Боги обязаны покраснеть... И читать их, эти первоисточники, видимо, нужно только стоя на коленях... Абстрагируясь и не впадая в классовую эйфорию, я вполне готов что-то из всего этого даже полистать. Если меня не набивать бумагой насильно, я даже способен читать это вдумчиво. Совершенно увлеченным образом, пока меня не отравили конспектами, я, например, прочитал Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Я не облевался, не ругался матом и не устраивал никаких книжных костров, потому что это – нормальная книга, написанная нормальным человеком. Правда, потом мне объяснили, что Эн-

гельс, он, как бы, того... ну третьего сорта, полуапол-стол, а читать надо двух, а еще лучше – одного гиганта. Потом мне еще раз объяснили, что читать ТАК – нельзя. Ну, типа, есть официальное и утвержденное понимание того, блядь, или другого текста. А ежели мне, полудурку, приспичило иметь свое мнение, то его я иметь, конечно, могу, но нехуй это отражать на лице в виде эврики.

Так что я написал два реферата. Первым я, как ни странно, обрадовал профессора. Оказывается, он уже лет хуй знает сколько никого не разоблачал, а мое творение подходило для этого как нельзя кстати. Разъебав меня по всем абзацам, он с радостью набрасал мне планчик, которого мне и следовало придерживаться. Второй реферат я уже собирал, как конструктор Лего, из рекомендованных кусочков, даже и не пытаюсь понять смысл процесса. Но как цвела идеология!

Цвела в тот период, как , впрочем, и во все другие, однако, не только идеология, но и махровый блат с подкупом. Самые богатые и занятые аспиранты – директора совхозов, например, главные специалисты хозяйств, просто нанимали кого-нибудь за деньги или, что даже понятнее – алкоголь. Самые крутые из претендентов на звание человека, сдавшего кандидатский экзамен, ограничивались телефонным звонком и каким-нибудь подарком. Им некогда, они занимаются делом и это все понимают.

На нас, бедных и не имеющих социального веса, садистской ухмылкой обрушивалась вся мощь образовательного процесса. Нам приходилось ходить на занятия, писать конспекты и сдавать зачеты зевающим преподавателям. Это до того было глупо и не имело смысла, что становилось не по себе. Но одна отдушина у меня была – это великий и, опять же, могучий, английский язык. В школе английский меня вообще не заметил. Как и я его. Бросив нормальную и формально проучившись в вечерней, я выскочил оттуда, ничем себя не запятнав. Институт выбрал по причине близости. Факультет выбрал по причине проходного балла. И запил горькую, низвергнув общежитие в пучины дебоша и разврата. Там, конечно, тоже был иностранный язык. Но я его опять не заметил. Хотя уже знал, что английский язык есть и даже сдал зачет по нему. Приехав по направлению в Новосибирск двигать вперед науку, я был, по истечении времени, задвинут усилиями завлаба в аспирантуру. Здесь абсурдность образования была настолько вызывающей, что я начал искать себе достойное занятие, чтобы просто не сойти с ума. И нашел отдушину в английском языке. Да будет господь справедлив к моей единственной учительнице, которая учила нас не для галочки, а просто потому что не могла не учить. Одинокая незамужняя умница в этом нелепом мире тусклых преподавателей. Я полюбил чуждый мне язык и уже не мог без него обходиться.

Я полюбил этот тихий голос, как любят форточку. Она до сих пор не знает, что она для меня сделала. Еще один мир – разве он бывает лишним? Окутай, доброта, ее черные волосы. Три дня я вообще не пил. Считайте это данью уважения к английскому языку или лично к Ларисе Ивановне – не знаю. Я просто хотел сдать экзамен хорошо. И вам, яхонтовые вы мои, это очень желательно понять, потому что здесь, в заочной аспирантуре мое материальное положение ни коим образом не зависело от оценки на экзамене. В институте – да, потому что получивший все пятерки, получал две лишние бутылки водки, в смысле – повышенную стипендию. Для студента это много. Очень много. А тут я ни хуя не получал – только головную боль. Никогда еще оценка не была так бесполезна. Сам факт сдачи экзамена еще имел какой-то смысл, без него защита диссертации была невозможна. Но тройка это была или, там, пятерка – не имело никакого значения. Тройка даже была предпочтительнее. Получивший эту удивительную оценку подразумевал в себе гениальность узкоспециальную и не связанную с такими глупостями, как иностранный язык. Если кто не знает, что такое тройка по английскому, имея в виду кандидатский экзамен, я скажу. Есть просто незнание языка. Это четыре. А есть агрессивное незнание, когда человек не только не знает, а и знать не хочет. Это три. Пятерка подразумевает умение перевести научную статью и исторгнуть

убогое произведение искусства под названием «Рассказ о себе». Это – осознанное незнание, то есть человеку стыдно за то, что он дуб дубом. Я получил пять. И до сих пор горжусь тем, что мой рассказ прервали, сказав – достаточно. Хотя... может, я их всех там забал своим красноречием? Ларису Ивановну на этом экзамене я видел близко последний раз в жизни. Она, конечно, потом мелькала – в аспирантуре, на улице, еще где-то... Но близко с ней я уже не столкнулся никогда. Слишком уж разные у нас с ней были социальные ниши. Я – дворовый пес. И она – породистый королевский пудель. Само собой, уже через пару лет она забыла меня. Я не против. Дворовых псов это мало копышет, ибо в их жизни куда больше плохого, чем хорошего. Такова плата.

Три дня я вообще не пил...

Нас там в группе было человек семь. Ну, и по традиции это дело было решено отпраздновать в аспирантском общежитии. И пошел я туда совершенно трезвый. Но уже с полной авоськой вина и водки, купленной в складчину. И с Каратом. Он весело подпрыгивал, мотая головой и артистически рыча. В пасти у него была ветка черемухи и не такая уж маленькая. Он нес ее от самого дома Федора, не выпуская. Если бы собакам давали призы за артистичность, то Карату бы дали самый главный приз. Он так сросся с этой веткой, что у общежития даже и не подумал ее бросать. Пришлось

отбирать силой.

В любом общежитии главное – пройти через вахтера. Эта призрачная черта отделяет мир легальных от мира непрошенных. «Незванный гость – не хуже татарина». Я был званым. Но вот собака – куда прикажете ее девать? В любом общежитии, а равно – здании вообще, главное – знать место, где вахтер теряет свой смысл. В этой общаге таким местом было окно колясочной на первом этаже. Зайдя за угол, я без труда нашел окно, открыл его, перевалился через подоконник и оказался внутри. Карат и не задумался даже – дал круг по двору, набирая скорость, и птицей влетел в окно. Мы поднялись с ним на второй этаж по одной из многочисленных лестниц – архитектура у аспирантского общежития была донельзя запутанная и нерациональная. Большие холлы на каждом этаже, закутки, повороты и очень маленькие собственно комнаты.

Я шел по этим запутанным коридорам, крутя головой направо и налево, я искал комнату, которую помнил по схеме очень смутно. Где-то впереди слышались голоса, но потом они тонули в крашенных зеленой краской лабиринтах. Где-то мелькнул смех, но и он утонул. Я шел в тишине, сопровождаемый только стуком собачьих когтей о мозаичный пол... Когда, после очередного поворота я увидел курящих на лестничной площадке однокашников, я был почти рад. Они ждали меня как бога, они бы любого ждали как бога, если б он нес

алкоголь. Меня вместе с Каратом пронесли в комнату чуть ли не на руках. Стол в крошечной комнате, конечно, был мал и вмещал только самый минимум блюд – символика чистой воды, без водки даже неприличная. Но у меня в руках было ее четыре бутылки, вина – три и пива – по числу водки. Водка без пива – деньги на ветер. Или наоборот. Фольклор, блядь, мудрость народная, каламбур...

Хозяин комнаты был виртуален. Он присутствовал только в разговорах. По всей видимости, это была женщина. Карат подавал лапы всем без разбора, лопал кружочки колбасы и был несколько обескуражен. Откуда ж ему было знать, что он первая собака такого размера в общежитии. Вопросительно взглянув на меня он вздохнул и поскорее улегся думать в углу, положив умную голову себе на лапы.

Через час, забыв английский, по крайней мере, на эту ночь, я пошел покурить в холл. И увидел ЕЕ. Я ведь мог покурить просто на лестнице. Но я выбрал холл. И выбрал судьбу. Так уж устроено. Пройди вот тут – и ты никогда не вспомнишь этот день снова. Пройди здесь – и ты никогда не забудешь его...

В холле окна начинались вроде как от колен – если стоять рядом – и кончались у потолка. Там стояла женщина с рыжими волосами и смотрела на улицу, где уже маячили сумерки и розовые-розовые, какие-то умиротворенные в сраку стояли дома, тихие, как будто в них

жили ангелы. Она была в брюках и очень свободном свитере, который жил на ней своей жизнью – жизнью мохерового пушистого зеленоватого свитера, который дышал ее телом и грел его. Она тоже курила и думала. Мы с Каратом вышли из-за угла и молча уставились на нее. Потом Карат с интересом подошел к окну и воткнулся в него носом.

Женщина вздрогнула и оглянулась.

– Его зовут Карат. Это собака.

Она улыбнулась. У нее были изумительные грустные глаза, в которых вокруг зрачка блестели рыжие звездочки. Карат вытащил нос из стекла и немедленно всунул его ей в ладонь. Она погладила его по голове инстинктивно, как это делают большинство людей, просто потому что собак приятно гладить по голове. Она присела на корточки и заглянула ему в глаза. Карат лизнул ее в нос. Она засмеялась с такой искренностью, что Карат вопросительно оглянулся на меня.

– Это женщина. Очень красивая, Карат. Ее зовут Лиса, – я говорил как дышал, не думая...

Лиса подняла вверх голову, немного наклонив ее. В ее взгляде была такая грусть, что я добавил:

– Грустная Лиса.

Она поднялась и пошла по коридору. У поворота она оглянулась и спросила:

– А ты, наверное, Большой Змей?

– Нет, Лиса, я – Одинокий Ветер.

Она улыбнулась... светло так, но грустно, все равно – грустно, и исчезла за поворотом...

... «Ваши пальцы пахнут ладаном...», сиреневый свет, горькое от водки пиво, лопающаяся пена на дне стакана, гул за столом, гул в голове, песни, от которых хочется умереть, музыка из далекого прошлого, слова, падающие вниз – их никто не подбирает, они никому не нужны – рождаются новые и новые слова, а потом вдруг все слова пропадают и становится прозрачно и одиноко и ты оказываешься в мире без звуков, где пантомимные собутыльники гротескно и пафосно двигаются, как утопленники. Я становлюсь вне пространства, я смотрю на это все со стороны, и нет во мне ни одного промилле алкоголя, лишь светлая грусть, похожая на взгляд рыжей женщины, которая почему-то живет внутри, как заноза. Я говорю и не слышу себя, все вокруг беззвучно, нереально, я, наверное, пресытился звуками и не хочу больше ничего. Я плыву вместе с гитарой, которая удобно устроилась у меня на коленях, как развратная шлюха и выпивает из меня душу, а я не сопротивляюсь, потому что я хочу сегодня потерять душу. Я пою – как живу – без конца и без края, и пальцы рвут воротник, потому что больно дышать и мне льют водку и я пью ее как воду и не пьянею. Просто звук ушел из этого мира – я слышу только свое сердце, оно бьется бешено, оно не хочет умирать вместе со мной. Я пою как последний раз в жизни и меня не остановить

никакой силой. Уже болят пальцы, и я вижу мелкие капли крови на лакированном дереве, но я пою, потому что песен больше в мире не будет. «Ваши пальцы пахнут ладаном...». Я зверски хочу курить, но я никуда не рвусь, потому что еще больше хочу петь, потому что завтра в России песня будет запрещена как явление и это – моя ночь. Я пою...

И когда я заканчиваю еще один душераздирающий романс, в дверях я вижу вездесущего Васю в ослепительном костюме, а рядом двух женщин, одна из которых смотрит на меня не так, как все. Я понимаю, что я уже на небесах, в раю, среди арф и перистых облаков, потому что я сейчас вижу то, что я хочу видеть – Грустную Лису собственной персоной и, наконец-то, звук приходит в этот мир. Вместе с ним приходит и осознание моего жутко пьяного состояния. Господи, весь этот мир такой пьяный, я с ним не хочу иметь ничего общего. Что это за вселенское алкогольное отравление! Надо что-то делать в глобальном масштабе. Где, мать твою, ООН и прочие гондурасы! Неужели никто не видит, что мир спивается на глазах? А кто будет увеличивать валовой доход на душу населения, кто будет защищать родину, мать твою, от агрессора. Этим людям нельзя давать в руки оружие – они все лыка не вяжут. Вы посмотрите на немого диктора в экране почему-то работающего телевизора – это же ходячий цирроз печени! А дом этот кто строил? Почему он не может и се-

кунды простоять на месте, почему нужно обязательно крениться хуй знает куда? Я вас спрашиваю, жертвы антабуса! И я, бросив гитару, полез через чьи-то ноги к этой рыжей женщине, потому что не мог я больше жить без нее ни минуты...

Вася в ослепительном костюме уплыл куда-то влево, оставив легкое недоумение на тему – «откуда он здесь». Стоящая рядом с ним женщина уплыла куда-то вправо, оставив легкое недовольство на тему – «я тут живу». И я остался один на один с Грустной Лисой, и мы взлетели над перистыми облаками, и рухнули в звенящую тишину... Мы были одни, несмотря на веселящееся вокруг собрание конченных алкоголиков. Я плыл с ней по воздуху как раскаявшийся вампир.

– Хочешь, я спою тебе песню, Лиса? – спросил я.

Рыжие глаза с искрами вокруг зрачков, рыжие волосы водопадом, свитер пушистый, как первый снег – я умирал от ее грусти, как собака. Если б я мог выть – я бы завыл.

– Хочу... – она сказала это так, словно я улетал навсегда. И я запел.

Перепутай взгляды лю'бых и любы'х...

Пусть под эту музыку идет канитель...

Отмеряя искры ка'пель голубых

Горькая как осень летит капе?ль.

Заколышет яркие ветер плащи,
Ты ему, весеннему, не доверяй.
Ты меня, залетного, пойдя – поищи,
Ты меня, ненужного, пойдя – потеряй.

Птица моя белая, умру невзначай,
Ты и не заметишь шелест песка...
Это ли не воля – когда печаль,
Это ли не радость – когда тоска.

Это ли не музыка – когда звон,
Да под синей жилочкой горит брошь...
То ли ты уснула и видишь сон,
То ли ты и вправду сейчас живешь.

Птица моя белая, горлом яд.
Задохнись как раненый, умри, но пей...
Белой моей птице нельзя назад —
Горькая как осень летит капель...

– Старик, по этому поводу давай выпьем, – и Вася стал срывать ножом пробку с бутылки.

Я смотрел через весь стол в глаза Грустной Лисы и мысленно стонал. По причине ужасной тесноты, ее примостили на табуреточке напротив и она кое-как там

пыталась поудобнее устроится.

– Ты что это в таком костюме?

– А-а, – махнул рукой Вася – Светка выгнала.

– Ну это понятно, но костюм-то зачем?

– В этот раз она меня выгнала с вещами. А это, Алкаш, один из моих свадебных костюмов и я его только раз и надевал. Просто я оставил вещи у балбеса одного, а самое ценное надел на себя. А кольцо сегодня у метро скупщику сдал. Так что на первые три дня деньги у меня есть.

– Светка тебя убьет.

– Не убьет. Это ее кольцо – она ж его не носит. Решит – потеряла. А потом я ей еще куплю. Два. На всякий случай.

– А если не примет?

– Слушай, ну к чему эта лирика! Примет – не примет... Мне ж цены нет!

– Это точно. Давай!

Мы выпили, но у меня уже не было прежней гармонии, с которой начался вечер. Я все смотрел на Лису и мысленно стонал.

– А ты как сюда попал, – спросил я Васю.

– Что я твой голос не знаю, что ли...

– А как тебя пустили?

– Я Ирку, хозяйку знаю. Мы с ней вместе работали. Я вообще тут все общежитие знаю. Да если бы и не знал – не велика беда. Мне ж цены нет. Господа! – Вася

встал, в своем ослепительном свадебном костюме. – Давайте выпьем за дам!

Я невольно закрыл глаза. Дальше я все знал – сейчас Вася начнет блистать всем, чем только может, имея в виду конкретную даму. Похоже, это была хозяйка. Я вполуха слушал витиеватый тост, прерываемый смехом, большей частью женским и аплодисментами.

Рыжее облако напротив, слышишь ли ты меня? Я смотрел на нее, я смотрел, как колыхнется едва заметно ее грудь, когда она смеется, как бесконечно красивы ее пальцы, которыми она держала пластмассовый стаканчик, как откидывает она назад свои роскошные волосы. Даже смеясь, она была грустной, и от этого неожиданного открытия я чувствовал себя еще более одиноко, чем обычно. Когда в очередной раз ее взгляд остановился на мне, я улыбнулся и показал ей зажигалку. Она просто кивнула и стала пробираться через колени, стаканы и руки.

...Карат не захотел остаться в комнате – он тоже пошел с нами. В коридоре было темно, только где-то далеко мутно маячил желтый свет.

– Пойдем туда же?

Она кивнула.

– А еще лучше – полезли на крышу!

Она кивнула.

– Только там холодно.

Она не спросила – зачем, она не сказала, что там

нечего делать, она не делала никаких поз – она просто не хотела мерзнуть.

– Сейчас! – Я улетел и прилетел через минуту со своей курткой.

...Мы поднялись по железной – в два пролета– лестнице и через очень низкую – по плечи – дверь вышли на крышу. Карат посмотрел на нас снизу, высунув язык, и решительно полез следом. Наверху был легкий ветер, влажная тишина, холодный блеск, капли воды, запах потревоженной дождем крыши и мрачные силуэты антенн. Плоская кровля исчезала в темноте. Карат рванул, услышав легкий живой звук крыльев какой-то птицы. Он исчез, как мохнатая молния...

Я развернул куртку, накинул ей на плечи.

– Ты выше меня, – сказал я.

– Это плохо?

– Это здо?рово!

– Дай зажигалку...

Она курила какие-то длинные сигареты с белым фильтром. У нее были изумительной красоты руки – я видел это даже в темноте.

– Что это ты пел?

– Трудно сказать. Просто тебе пел.

– »Это ли не радость – когда тоска«... Странно. Это что, ты сам написал?

– Ага. Но я никогда не пел эту песню. Некому было.

– А сейчас есть кому?

– Сейчас есть. Я тебя нашел.

Она помолчала. Потом подошла к бетонному парапету и стала смотреть в темноту, в дождь, в ветер. Я подошел сзади и обнял ее...

– «...Я – ангел цвета тоски и осени.

Когда приходят дни, сотканые из пепла,
Я радуюсь, что могу стоять под дождем —
Последний, кто знает, как это делать.

Я – как дерево на фоне дыма,
Которое качается, уже умерев.

Я – крик, растянутый на сотни лет.

Просто слушать его нет времени.

Никому нет дела, где у меня сердце...

Время – последнее, что у меня осталось.

У ненастья всегда привкус вечности...

Я – ангел, любящий холодный дождь...»

Я говорил ей это в ухо нежно, как только мог. Я дышал запахом ее волос. Где-то внизу горел фонарь и было видно как холодный свет уходит облаком в небо и в этой умирающем свете летели капли, как искры. Дождь был мелкий, осенний, с непонятно откуда и куда идущим ветром. Он почти затихал временами, а потом снова рвался из темноты и было видно, как летящие вниз капли начинают лететь вбок и вверх. Дождь, идущий вверх. Временам он вдруг застывал в воздухе, словно не зная – куда ему.

– Это что, тоже ты? – спросила она.

– Нет, Лиса. Я даже и не знаю, кто это. У меня был сборничек каких-то модернистов на английском. Я пытался переводить. Не получилось. Но вот это запомнил. Осеннее одиночество. Каряя вода. Мокрый шелест листьев. Невозможность умереть. Плохо быть ангелом, Лиса.

– Почему?

– Говорят, у них нет души...

Вдалеке послышался довольный лай Карата.

– У тебя замечательный пес.

– Он мой друг. Знаешь, собаки обычно считают хозяев вожаками своей стаи. Карат считает меня другом. Так редко бывает. Иногда мне кажется, что он знает куда больше меня. Он много думает. Ты живешь здесь?

– Да.

– Одна?

Она взяла меня за руки, отлепила их от себя и повернулась.

– Ты, наверное, замерз? Я почувствовала, как ты дрожишь.

...Дрожал я не от холода – это точно. И туман в голове был не от водки. И температура была не от гриппа – наверняка.

– Ты не сказала – ты одна живешь?

– Ты хочешь ко мне в гости?

...Не от холода – это точно. «От того, что светлая под сердцем рана и нет мне дороги ни в какой край...». И

летели капли над крышей, не падая.

Она засмеялась.

– Ты, Ветер, вообще говоря, пьян. Я тебя первый раз в жизни вижу. И улетишь ты, Ветерок, сейчас, и никогда меня не вспомнишь. А в гости ко мне нельзя, потому что я живу не одна, а с еще одной женщиной, и она уже спит. У нас комната на двоих. Мы, кстати, раньше с Ирой жили, но она переехала этажом ниже. Где вы сейчас пьете-гуляете.

– Да? Я еще подумал – что она такая недовольная? Ничего, сейчас Вася ее развеселит.

– Пошли вниз, Ветер. Мне холодно.

...Собакам трудно спускаться вниз по лестнице. Вверх они забираются очень даже легко. Но вниз, да еще по ажурной металлической лестнице, им спускаться не просто. Не даром их этому специально учат. Карат прибежал на свист, влетел в дверь и остановился на железной площадке. Поскулил, больше для порядка, и развернувшись, стал спускаться по лестнице хвостом вперед. На второй площадке он развернулся и преодолел последний пролет как надо. Внизу Карат мощно отряхнулся, сбрасывая с себя водяную пыль, зевнул и пошел за нами.

В комнате народу осталось немного. Вася уже сидел возле Ирины, обнимал ее за плечи и вдохновенно рассказывал истории своей жизни. Вино заканчивалось. Водку выпили давно. Но до одеколона было еще да-

леко.

– А вот и Алкаш! – заорал Вася, – слушай, спой что-нибудь человеческое. Чтобы я умер сразу. Чтобы Ира меня похоронила, как человека, где-нибудь на опушке. Ира, ты будешь приходить ко мне на могилу? Рядом дерево, на дереве сучок сломанный, на сучке стакан висит. И никто, Ира, никто этот стакан никогда не утащит. Ты придешь, выпьешь из него водочки, закусишь черным хлебушком и всплакнешь от любви и нежности. А? Алкаш, спой песню! Я еще живой... «Ах, господа, как хочется стреляться»...

...И больше ничего осознанного – как бесконечная песня над степью. Так дышит лес, не думая о завтрашнем дне. Так летит с дерева сухой лист. Так матерется, дрожа, грозовое облако. Ничего осознанного. Песня души. Закон природы.

...Ночью, среди темных домов, звук разносится далеко-далеко. Даже если дождь. Даже если ветер.

Мы шли с Васей, обнявшись, мокрые и почти счастливые. Мы пили какую-то гадость из горлышка. Вася сказал – мартини. Ни хуя. Вермут грязнейшей воды. Мы мочились на асфальт, не заходя ни в какие подворотни. Мы ссали на этот мир, как он ссал на нас. И текла горячая живая жидкость в черные лужи и остывала там, умирая. Качаясь, мы стояли у круглосуточного киоска и пели самую гнусную песню, которую когда-либо выдумало человечество – «будет людям сча-а-а-стье,

счастье на век-а-а-а... у советской власти сила велика...». У вас есть совесть, уже три часа ночи? Вася, у нас есть совесть? Мадам, у нас для вас есть все... Летящие черные собаки, холодный нос Карата, «предъявите документы», сон, похожий на потерю сознания «Черный квадрат» всего сущего. «Я умер... но я слышу как летят... монетки в музыкальный автомат...». Но за полсекунды до того, как погас мир, я вспомнил: «Напиши мне письмо, Одинокий Ветер».

Останься, осень... Ты живешь внутри меня, ты осела внутри меня, ты горькая и хвойная, и живет во мне твое дрожащее на ветру золото, и трудно тебя пережить, но я прошу тебя – останься.

Я словно лечу по твоей милости, и проносятся стаями мимо меня дожди терпкие, липкие, как паутина; и сама паутина, сверкая на солнце, плывет в воздухе, когда пригреет солнце, и оседает на траве и деревьях, и вновь летят на погибель свою паучки.

И вижу я кровавые клены и траву под ними кровавую в отпечатках листовых ладоней, и тонут эти кровиночки в ручьях, мешаясь с желтыми листьями.

И шуршат дубы, и роняют свои генеральские знаки отличия и все идет к чертовой матери и наплевать мне на все человечество, ибо я один на целом свете.

Иллюзия, все кругом иллюзия. Все пойдет прахом. Но останутся серенькие уточки и селезни с металлическими перьями и так же будут они плавать в прудах

и останется на дне этих прудов утонувшая листва и так же нежно будет покачиваться на поверхности ряска и солнце будет проникать сквозь кроны старых деревьев, с трудом пробиваясь к этим маленьким лужицам.

Останься, осень. Твоя музыка живет во мне, и выворачивает меня наизнанку, и вязнет в ушах твой звон, и никуда от него не деться, и я не могу ни петь, ни играть, потому что кощунственно перебивать твой залетный голос, который быть может, завтра исчезнет навсегда.

И я люблю твои джазовые аккорды, звучащие на грани гармонии и хаоса.

И я люблю жить на этой грани, дышать этим звоном, ходить от него пьяным, чувствовать, что твоя собственная музыка зазвучала в унисон, и сердце твое бьется в ненормальном ритме, и хочется умереть, ибо лучше ничего не будет на этой грешной земле.

Останься, осень. Скоро пойдет снег и все будет правильно. Мы будем ходить по снегу, как по белому листу бумаги, с канцелярской точностью метронома. И такой грани между гармонией и хаосом уже не будет.

Не будет...

И не надо.

Ах ты, осень, желтая, беспутная, с каплями на умерших листьях, с голыми ветками, с селезнями и утками, с тоской в глазах, с водкой в крови, пьяная-пьяная, сволочь, нежная, как заячий мех, с голубыми до боли глазами, уходящая в какой уж раз от сотворения мира.

Шелест, шелест...

Стая Одинокого Ветра-4

«Туберкулез – по понедельникам и четвергам.

Сифилис – по средам и пятницам.»
Генри Миллер. «Тропик Рака»

Митрич отдал мне за две бутылки водки свой старый черно-белый телевизор. Задней крышки у него не было, переключателя каналов не было – один штырь, передней панельки тоже не наблюдалось. При всем при этом показывало это чудо очень даже неплохо, а звуком обладало сногшибательным. Я сколотил из четырех досок и куска оргалита подобие тумбочки, на которую водрузил чудо и часа пол лазил по крыше, ловя сигнал, который о физике и не слыхивал. Антенну Митрич мне по широте душевной просто подарил и принял непосредственное участие в ее установке. Выглядело это так – Митрич, высунувшись наполовину из окна со стаканом водки, смотрел как хамелеон – одним глазом на крышу, вторым – на экран и орал:

– Выше! Нет, ниже! Вообще пропало! Выше! А ну вправо разверни! Во, бля! Теперь влево! Ах, чтоб тебя!.. Да не бегай ты как слон, шифер продавишь. Все, приколачивай! Ну, за сказанное! – слышится страстный, как у морского котика, выдох...

Две бутылки водки мы выпили, ясно, вместе, так что продажа телевизора была сделкой весьма и весьма условной. Все это время Карат бегал по двору, разминая лапы, и весело лаял на голубей.

На этом мероприятие под названием «communication» не закончилось. Мы еще с час тянули сто пятьдесят метров полевого телефонного провода по крышам и прочим высотным местам до моего окна – я нелегально подключился к линии, идущей до маленького домика с громким названием «КПП». Оно осталось еще от бывшего здесь когда-то военного городка.

Заканчивали уже в полной темноте. Митрич пошел пройтись до своего КПП, проверить ворота и покормить Грея – мрачную черную немецкую овчарку без всяких признаков доброты. Грей жил в загородке, рядом с КПП и днем его не было видно – спал. Только ночью и только Митрич выпускал его на территорию. Никто и никогда не ходил здесь в это время, ибо Грея знали и этого было достаточно.

Карат же подружился с ним мгновенно, как только попал сюда. Уже в первую ночь, когда я привел его на мехдвор, они вдвоем устроили кошачью охоту, закончившуюся предрассветным концертом. Никаких котов они и близко не поймали – не те это были мурлыки. Огромные и грязные, не боящиеся даже амбарных крыс, эти ночные призраки сидели под луной на конь-

ке крыши и даже не шипели на собак. Лают – ну пусть себе лают. Срали мы на них. Потом им это надоело и они сами ушли охотится. Котов этих никто никогда не кормил – раз есть зерно – значит, есть и мыши. А раз есть мыши, то коты сами по себе. Не та это популяция, не из детских мультфильмов. Хищники. Грей, рассказывал Митрич, было дело – сам чуть глаз не потерял. Хотя и загрыз стервеца. Бывалый был кот, всегда от него уходил – под самым носом. Но старость и смерть ходят рядом. И как то раз не рассчитал котяра. Не судьба. Или вернее – судьба.

Карат убежал с Митричем. Он уже знал, что в это время Грея выпускают и хотел с ним пообщаться. Я позвонил пока Федору – просто, чтобы проверить телефон.

– Алло, Федор, это я.

– Привет. Что случилось?

– Да ничего, телефон проверяю. Запиши номер, на всякий случай. Я протянул себе ветку от Митрича. 48, а дальше все семерки. Не забудешь ни в жисть.

– Я о тебе, алкаш, и так никогда не забуду. Тут ко мне уже полподъезда приходило с претензиями. Ты зачем бутылки в окно выбрасывал?

– Только на газон, только на газон. И только ночью.

– А что за гондоны под диваном?

...Вот тут Федор был прав. Уходя, я сделал генеральную уборку. Но под диван, конечно, заглянуть за-

был. Сейчас Федор начнет свирепеть. Пора переходить на английский. Он это любит. Заодно послушаю, как у него с языком после Англии.

– Sorry, Fred. It's my mistake. Very, very sorry. But it was Vasja. I mean he had a finger in the pie.

– Finger? I thought it for another organ... I'm gonna kill'em.

– It would be right solution. Your English now is more perfect than usually. Had you some problem in England? I say – language problem?

Вот сейчас он будет добреть! Или нет?

– Ha-ha. You know people complimented me on my English, but I understood a little. In the end I've begun to comprehend but was time for me to go home.

– How much did you drink?

– I was a total abstainer. Two months. Imagine? —It's unbelievable! And how are you now? Listen Fred, I've got a bottle of vodka.

Я нагло врал. Ее уже и половины не было. Но я-то знал, что Федор в это время из дома не вылезет.

– »Siberian», Fred. 45 proof!

Я гнал дуру. Водка была обычная «Пшеничная». Да еще и поддельная. Палево такое голимое, что пиздец!

– Sorry. I have very many problems. After you. And moreover I must get up early tomorrow morning.

– It's a pity... Bye, then!

– Bye, Алкаш!

Краем глаза я все это время смотрел на экран телевизора, шла какая-то мура с Гомесами и Педрами. Потом начались местные новости. И красивая дикторша с казенным голосом вдруг начала говорить о собаках.

– «... За последние два месяца, по данным Госсанэпиднадзора, в городе появилось много бродячих собак. За это время отмечено более тысячи случаев нападения на людей, из которых 32 человека госпитализировано. В эту статистику не попали, разумеется, лица, которые не обращались по этому поводу в лечебные учреждения...».

На экране прошли кадры, где на фоне грязного фургона с надписью «Спецавтотранс» два конченых отморозка пытались связать два слова об их героической работе. Один из них показывал изуродованный палец. Потом вдруг отморозки с видеоэфффектом ушли в диафрагму и возникла городская свалка. Съёмки велись издали, на пределе возможности трансфокатора. На большом расстоянии от оператора стали заметны не сколько собак, быстро передвигающихся в одном известном направлении.

– «...Вчера шоферы, вывозящие мусор на полигон твердых бытовых отходов, в просторечии именуемый «свалкой», отметили одну странность – к вываливаемому из грузовиков содержимому не сбегались местные бомжи, которых здесь всегда было много. Как оказалось, их просто не осталось в живых. Сегодня утром

наряд милиции обнаружил полусъеденные тела нескольких несчастных. Были найдены также трупы собак...».

Камера с близкого расстояния стала показывать останки нескольких собачек небольшого размера.

– «...Бездомные люди и собаки всегда жили на свалке, иногда дружно, иногда не очень, но таких случаев не было никогда. Наверное, очень трудно будет узнать, что же произошло между собратями по несчастью. Свидетелей-людей не осталось. Свидетели-собаки говорить не умеют. Да и не спешат дать интервью...».

И опять прошли издалека снятые кадры убегающих в неизвестность собак. Что-то мне почудилось в их движениях, какая-то странность.

– «...Одно известно точно – этот «бой местного значения» собаки выиграла. Теперь свалка принадлежит им...».

Я потянулся к бутылке, плеснул себе грамм пятьдесят, выдохнул, но в это время дверь открылась и я оказался в радостном водовороте из двух собак и Митрича.

– Ну ни ебаный ли насрать! – заорал Митрич. – Я тут охраняю территорию, а он мою, честно заработанную, водку хлещет!

Митрич матерился как бог. Фразы, придуманные им были настолько совершенны и фантастически невозможны, что мне оставалось только восхищаться ими.

– Я тебя до утра, что ли, ждать буду? Кстати, вон посмотри, на свалке бомжей собаки порезали.

– Да слышал я уже сегодня! Ты еще радио не слышал. Они там наверху совещаются, будут операцию проводить. По уничтожению. Пока за бомжиками нормальные люди не пошли в расход. Плесни-ка мне!

Я плеснул. Карат подошел ко мне, сунул свою морду мне в руки и вздохнул – глубоко и недовольно. Не любил он, когда я курил в комнате. Грей, большой и темный, потоптался вокруг стола и решительно сел возле входной двери.

Он помещения не любил в принципе и заскочил просто за компанию с Каратом.

– Митрич, выпусти Грея, в гробу он видел – здесь сидеть.

Митрич в это время цедил водку, высоко запрокинув голову и просто молча поднял указательный палец вверх, дескать – не мешай. Допив, он крякнул, закусил пластинкой давно загнувшегoся сыра и оглянулся на Грея.

– Ясен хрен, сейчас выпущу. Там, кстати, через часок мужики припрутся... с пойлом. Надо бы встретить. Звонили...

– Грей встретит.

Митрич заржал, как умирающий конь:

– Этот встретит! Помню как-то, месяца два назад, уснул я на дежурстве, а Васька твой не знал и пришел

с нею, с родимой. Орал-орал с улицы, подумал – я на обходе и перелез через забор, придурок. Так два часа на крыше склада стоял, пока я не проснулся. Да еще успел залезть, хорошо. А так бы порвал его Грей, как грелку.

...Ночка обещалась быть та еще.

...Через час меня чего-то сморило и я вышел на улицу. Митрич пошел на КПП встречать мужиков, а я пролез через колючую проволоку изгороди и, добравшись до своего любимого пенька, сел на него покурить. Здесь была довольно большая полянка и, поэтому, когда глядишь вверх – видно небо. Звездное небо. Далекое-далекое. Не такое, как в моем родном городе. Там воздух чистый и небо кажется близким, как будто рядом. И оно не черное, не такое беспросветно черное, как здесь. У него сиреневый цвет. Цветет сирень – и жара кругом, и осы, и гусеницы бражников ползают по листьям, самые красивые гусеницы из тех, что я видел, и суетится мир вокруг... А она темная стоит, неподвижная, с тяжелыми листьями, холодная и запах от нее холодный и наплевать ей – и на мир, и на сиреневых бражников, и на жару. Тоска. Сиреневая тоска. Когда это было...

Я сидел, курил, пока не услышал шелест листьев. Это, растянув рот в своей бесподобной улыбке, искал меня по запаху Карат. Он вынырнул из зарослей, подбежал ко мне и сел рядом. Я погладил его по голове.

«Тебе здесь нравится?»

«Конечно. Я много лет провел в квартире. Знаешь, как там трудно дышать?»

«Знаю. Я сам не люблю квартиры. Просто мы люди и не умеем жить иначе.»

«Знаю. Вы смешные.»

«Ты все время смеешься. Тебе весело?»

«Редко. Но когда смеешься – легче жить. Ты не уйдешь от меня, как старая хозяйка?»

«Она не виновата. Она просто очень долго жила. Устала.»

«Я помню. Но ты же молодой?»

Я засмеялся.

«Как сказать. У нас с тобой по разному течет время.»

«Я слышу твое сердце. У меня оно гораздо быстрее.»

«Я и говорю – по разному. Я постараюсь не уйти. Но если уйду – не злись на меня. Моей вины в этом не будет.»

«Ладно, не буду. Только ты все равно не уходи... Ты все время думаешь о Грустной Лисе. Почему?»

«А ты о своих суках не думаешь?»

«Иногда думаю. Но не так сильно. Зачем так сильно?»

«Не знаю. Давай, помолчим?»

«Давай.»

Мы сидели под звездным небом и молчали... Как

давно это было, как дивно это было и как это ни хуя потом не повторилось!

...Тишину разорвал дикий баянный аккорд, за которым последовал залихватский перебор сумасшедшей частоты. И совершенно, восхитительно пьяный голос Митрича изобразил бесконечную степь да степь кругом в неизвестном мне варианте от корки до корки. Митрич пел вдохновенно, совершенно не вдумываясь в смысл слов, а только бесконечно очаровываясь звучащей внутри него музыкой. Впрочем, голосом его бог не обделил и кое-где, местами, его песня даже была гениальна. Карат вопросительно поднял голову и посмотрел на меня. Я пожал плечами.

Закончив степь, Митрич переметнулся в Кейптаун, где с пробоиной в борту «Жанетта» поправляла такелаж. Потом в ход пошла Мурка. Потом, ясно дело, зашумел камыш. Потом я поднялся и пошел на звук – надо было догнаться. Карат с Греем в фантастическом лунном свете побегали по территории и вскоре умчались давить котов на дальние склады.

В сторожке, гордо именуемой «КПП» было шумно, пьяно и весело. Как говаривал Митрич – все свои. Митрич никогда не пел внутри – всегда выходил на улицу. Но из-за Грея остальная компания должна была слушать его, не высывая носа. Грей не то чтобы не любил пьяных, он, как бы это сказать, понимал свою роль. Он давно понял, что охранять – это его работа.

А каждый лишний человек ночью, будь он хоть триста раз друг Митрича, представлял собой явно выраженный беспорядок и его следовало подровнять. Что Грей и делал при каждом удобном случае. Поэтому отливать, например, вся компания выходила строем и во главе с Митричем. И не дай бог – шаг вправо, шаг влево. Грей не бросался на них только из-за уважения к своему начальнику. Но рычал бесподобно. Да и Карат, несмотря на свою вечную улыбку, рядом с Греем терял изрядную часть своей природной доброты. А две овчарки, пусть даже одна из них и колли – серьезный противник.

С Греем я познакомился раньше, чем с Каратом. Когда я первый раз пришел на мехдвор, был день, вокруг была суэта обычного советского трудового дня – трактористы, шоферы, начальство. Короче – «мы будем сеять рожь-овес, ломая плуги... прославим ебанный колхоз по всей округе...». Я еще ни хрена тут не знал. Я только увидел вдруг сквозь щели забора абсолютно немигающие собачьи глаза. Не испуганные. Не злые. Не голодные. Не любопытные. Просто умные, жесткие и сдержанные. На меня смотрел крупный серо-черный кобель немецкой овчарки классического образца. Не рыхлый восточно-европейский увалень, а немец без всяких признаков вырождения. Откуда на этот мехдвор попало это чудо – Митрич не знал, потому когда он пришел – Грей уже был. И старый сторож, ложась в больницу, передал Митричу права на эту собаку. Из боль-

ницы старик не вернулся. А Митрич, единственный из всех сторожей, смог с ним подружиться. И это, как оказалось, спасло Грею жизнь. Потому что его хотели усыпить по причине полной неуправляемости. Тетя Клава, например, заступая на дежурство, приходила раньше, убеждалась прилюдно, что Грей заперт на замок и только после этого приступала к обязанностям. Дежурство же Митрича сопровождалось обычно повальным бегством с территории всех, кто о Грее помнил. Когда мы распивали с ним первую совместную, он вдруг вспомнил, что забыл выпустить Грея и мы пошли знакомить меня с убийцей котов. Грей мощно вымахнул из калитки, посмотрел на меня, не мигая и легко ушел рысью вдоль забора. Он вообще не стал со мной знакомиться. Он принял меня как равного или не принял вообще – не знаю, но он не подошел, не зарычал, не облаял меня. Он просто прошел мимо. Мне это понравилось. В этом было что-то от невидимости. Через два часа, когда мы сидели с Митричем на крыльце КПП и курили, Грей вернулся и подбежал к нам ровным, легким, пружинистым аллюром. И снова – не заметил, не обратил внимания. Сел рядом.

– Да ну ни ебаться без пистолета! – удивился Митрич – то ли он тебя не видит? Другого бы помял уже.

– Просто он умный. Я ему не враг. Но и не друг. Чего время тратить? Правильно все.

И Грей первый раз посмотрел на меня с интересом.

Который тут же похоронил на дне своих глаз. Ах ты, сукин сын! Загадка. Сфинкс. Бездонные, немигающие и карие, пьяные – друг другу в глаза, в душу, в бессмертие. И ирония в самых уголках. Я тебя раскушу, немецкая морда. А я тебя, пьянь подзаборная. Я тут живу, алкаш. Теперь и я тут живу, шерстяной. И рванул Грей опять рысью вдоль забора. Красиво идет, подлец. Чисто волк. Спина – стальная. Стелется над землей, как не касается ее вовсе. Не рисуйся, гаденыш. А ты сам так попробуй, человечиска. Так вот и жили все время – каждый под знаком своего полного и безоговорочного превосходства. Смертельная игра. Карат же все это безобразие прекратил на корню. Грею просто было чудовищно скучно. Вот и весь сфинкс. Даже обидно. И превратился загадочный немец в отличного компанейского пса. Но – только для избранных. А для всех остальных... Кто може – ховайтесь, кто не може – рятуйте, как говаривал Митрич, открывая калитку, за которой переступал лапами от нетерпения Грей.

Я подошел к сторожке, молча взял из рук Митрича стакан с водкой, выдохнул и залпом выпил. Водка была настоящая – не бутор.

– Кто это у нас припер родимую? – спросил я, занюхивая рукавом.

– Шурин припер. Уже под лавкой лежит. Сморило. Споем?

– Дай-ка еще полстакана, а то засыпаю.

Митрич кивнул, поднял с земли стоявшую у его ног бутылку, посмотрел ее на свет фонаря, покачал головой, но все же плеснул мне в стакан.

– «Ничь яка мисячна», Митрич. – сказал я.

Он кивнул, поправил ремень и с ходу, с растягу, с тоски и радости одновременно выиграл железными своими пальцами вступление.

...Я пел, закрыв глаза, отключив в себе все, что только мог, оставив только одну чистую и непорочную свою душу. И ангелы заливались в небе слезами. И падали, бляди, обессилев, на землю. И теряли память. А еще через час, засыпая под пьяный базар, я опять вспомнил: «Напиши мне письмо, Одинокий Ветер»...

...голубое сияние снегов, исчезающая глубина озер, отражение солнца в воде, пестрота полевых цветов, ощущение полета над каменной пустыней, крик птицы под утро, музыка в пустом концертном зале – это все жизнь в пустоте. Нет ни верха, ни низа, не за что уцепиться, нет конца этому, и ветер не может лечь, не может успокоиться.

Человек живет на земле – ему легче. Легче, потому что у него есть вес, потому что он тяжелый.

Ветер вынужден скитаться вечно. Легкая поземка, и буря, и ураган, и шквал растворенной в воздухе воды – все это ты видела много раз. Но только видела. Ветер нельзя схватить. Холодным сквозняком он вытечет на волю. Миллионы лет движения...

Закрой глаза. Я – ветер. Я играю с тобой, ты – моя игрушка, самая лучшая из игрушек. Дрогнут твои ресницы, легкой дымкой всплывут над головой волосы, взлетит, раскроется цветком платье. Ты услышишь голос ветра – мой голос. Не пытайся понять слова ветра – слушай его как музыку, как плеск воды, шелест песка, как эхо, искажающее твои слова... Забудь, милая, себя; в тебе не осталось ничего, кроме ветра и этой вечной музыки. Сойди с ума, потеряй ощущение времени и пространства; лети, если хочешь; плыви, если хочешь; отрасти себе чешую, крылья кречета, жабры акулы, сердце змеи. Игрушка моя, ты потеряешь разум, ты уже потеряла разум.

Я – ветер. А в ветре нет ничего, кроме воздуха, который течет. Ты будешь дышать им и забудешь все. Я – рядом, я – в тебе, я – нигде.

Открой глаза. Тебя больше нет. Тебя поглотил ветер. Одинокий Ветер рядом с тобой, тень рядом с тобой, тоска рядом с тобой, смерть рядом с тобой. Ты идешь, ты дышишь, ты растворяешься, ты смотришь вдаль – а ветер неотвратим, одинок и печален. Что-то касается твоих волос и пальцев. Он пронесется мимо, он едва уловим. Он существует где-то рядом. Ночью он разрушает твой сон. Миллионы обрывков нашего сознания невозможно выкинуть просто так из мозга. Вечером голова напоминает помойку. Липкие пятна прошлого наполняют ее. Если бы все это оставалось в мозгу, чело-

век бы сошел с ума. Но – ветер, тень, скорбь рядом с тобой, невидимое излучение далекой звезды, это мое блуждающее «я». Иногда оно действует само по себе. И вот тогда оно уводит мою душу в космос и там, задыхаясь от одиночества, этот призрак мысли ищет – кому помочь. Он находит тебя. И за бесконечную галактическую эпоху на грани сна и бодрствования он стирает из твоего уставшего мозга все пятна прошлого.

Люди забывают друг друга быстро. Их тени не забывают друг друга никогда. Через тысячи лет после нашей смерти кто-то вздрогнет от внезапного ощущения блуждающей мысленной тени. Так сейчас мы вздрагиваем иногда от прикосновения громадного и невидимого крыла космической птицы. Так иногда, просыпаясь, слышим голоса, зовущие нас. Это все живой человек ощущает только на границе между бытием и небытием. Не надо спешить в этот мир – он все равно нас дождет. Но постарайся не прогонять это блуждающее «я», кем бы оно ни было. Чаще всего – это спасающая тебя сила. Не отмахивайся от нее. Конечно, без этой тени, без этого ветра можно прожить...

Но другой такой тени, другого такого ветра больше нет.

Слишком велик мир.

ЭТО может не вернуться...

Сияние рыжих звезд, спаси меня...

Стая Одинокого Ветра-5

Человек человеку... как бы это получше выразиться – табула раса. Иначе говоря – все, что угодно.

В зависимости от стечения обстоятельств.

Человек способен на все – дурное и хорошее.

Мне грустно, что это так.

Поэтому дай нам Бог стойкости и мужества.

А еще лучше – обстоятельств времени и места, располагающих к добру...

Сергей Довлатов, «Зона»

...Утро красит нежным цветом... стены древнего Кремля. Я проснулся резко, как ошпаренный. И сразу – дикая боль в висках, в глазах, во всем теле, изжога, совершающая утренний моцион по всему пищеводу. Я сразу пожалел, что проснулся. Там, в темной глубине проспиртованного сна, я хоть ничего не ощущал. Где-то далеко вставало солнце, потому что все вокруг было синевато-розовым и на стене тлело живое пятно света. Лежал я в одежде, на левом боку и слышал, как оглушительно бьется мое сердце. Мутным взглядом, не поднимая головы, я обвел взглядом то, что был в состоянии обвести. Карата явно не было – я его не

чувствовал. Значит, где-то на улице. Или в тамбуре. На столе стояло и лежало несколько бутылок, но все пустые. Что-то их было много. Не иначе, как мы пили здесь не только с Митричем.

Можно было лежать еще долго и лелеять свою боль. Но я медленно поднялся, стараясь не шевелить головой, взял со стола стакан и, мыча, шаг за шагом, побрел в «кабинет». Сев на табурет перед письменным столом, я открыл тумбочку, пошарил там и достал флакон «Лесной воды». Это нужно не мертвым... это надо живым. Сто грамм счастья крепостью 70 градусов. Поскрипывая, философским винтом сходила с резьбы крышечка, обещая долгую, счастливую и безбедную жизнь. Что еще нужно человеку? Разве что лосьон «Огуречный»... Вася пил парфюмерию прямо из флаконов. Я так не умел – в узенькое горлышко устремлялась совсем уж слабая струя. Я вылил в стакан все до капли. Я вытряхнул все миллилитры, децили, атомы и молекулы, выдохнул, освобождая горло для спасения, зафиксировал левой рукой правую, чтобы не дрожала, и медленно, борясь со рвотой, выцедил все это лесное удовольствие.

Я взлетел через несколько секунд. Я сидел с закрытыми глазами и взлетал, расправив мощные перепончатые крылья.

...Ветер бил в лицо, развеивал волосы, срывал с меня кожу и было фантастически одиноко и праведно. Я

понял вдруг смысл жизни отшельника – когда ты один, свят и чист, как первый подснежник. Когда ты наделен мощью и прозрачностью, когда ты горяч внутри и холоден снаружи, когда ничто не может тебя приземлить, и ты взлетаешь одним усилием воли. Я открыл глаза, поставил стакан и кристально взглянул на листы, лежащие передо мной. Это было письмо Грустной Лисе. Я писал его вчера. Я вспомнил, что я писал его вчера. Задыхаясь от тоски и нежности. Злясь, что не могу нарисовать свою душу. Целуя бумагу шариковой ручкой. Это нужно не мертвым...

Что-то изменилось в этом загаженном и прекрасном мире. Что-то случилось с его палитрой. Я увидел се-ребро.

Подойдя к окну, я понял – в чем дело. Ночью выпал снег. Первый снег. Чистый. Обреченный умереть через несколько часов. И потому – светящийся. Первый вестник наступающего сна природы.

Потом я услышал голос Карата. Из тамбура. Он уже проснулся и рвался на улицу. Карат часто спал в тамбуре. Там не было тепло, но там не было и сигаретного дыма. Дверь тамбура открывалась внутрь. Он легко заходил снаружи, но не мог открыть ее сам изнутри. И вот сейчас он звал меня.

Я открыл дверь, Карат рванул ко мне, беззвучно смеясь и махая хвостом. Я сел на корточки и погладил его.
– Есть хочешь?

Карат с готовностью облизнулся. Я залез в кухонный стол по плечи, долго шарил и достал пакет сухого собачьего корма – как-то я разорился на него и оставил для вот таких случаев, когда овсянка будет только в несваренном виде. Пакет был полон или пуст – это уж кому как – наполовину. Насыпал Карату хрустяшек и налил воды в его миску. Пес грыз свои сухари с космической скоростью. Пока он завтракал, я позвонил Митричу. Если позвонить на любой другой номер проблем не составляло, то звонок Митричу, висящему на том же проводе, превращался в не всегда преодолеваемую проблему. Надо было набирать на телефоне что попало, и тогда старый аппарат на КПП начинал подзвякивать. Иногда Митрич понимал, что это я, иногда – нет. Иногда он был пьян настолько, что не понимал вообще ничего. Тогда приходилось идти. Сейчас Митрич должен был сдавать дежурство и, скорее всего, он был начеку. Ожидания были не напрасны.

– Митрич, эта... ты живой там?

– Да вроде. Вот, лечусь. Подойдешь?

– Еще бы. Что там, водка?

– И пиво тоже. Только быстро давай, скоро Клава заявится и выкинет и меня и тебя. Ты же знаешь – она всегда раньше приходит.

– А может, ты подойдешь?

– Ну да. Клавка хай подымет, что меня нет. Давай, не еби мозги. Я Грея пока закрою.

У сторожей междвора, он же база научно-исследовательского института кормов, был до ужаса дебилный набор правил. Сторож заступал на дежурство, вроде как – вечером. Но, несмотря на это, должен был утром, в день своего дежурства, принять вахту у предыдущего сторожа. Потом он был свободен до самого вечера. А днем на КПП сидел вообще какой-то левый сторож, который ни формально, ни фактически ни за что не отвечал. Этим левым сторожем был любой сотрудник института по списку, у которого этот день считался рабочим. Естественно, попадали туда, в основном, всякие лаборанты, мэнээсы и прочая шелупонь. Я, понятно, тоже попадал. Почему так организовали охрану – никто не знал. Примерно с такой же, блядь, логикой, кстати, было отчебучено и дежурство в самом институте в дни праздников. В приемной, сменяя друг друга, сидели у телефона несчастные сотрудники и в ус не дули. А поскольку праздник – сидели все сплошь пьяные. Не уходя с дежурства по прибытии следующего дежурного. По соображениям начальства, сотрудник должен был быть на случай ЧП... Каковым, например, считался звонок из министерства (какой, в пизду, министр, интересно, стал бы названивать в праздник в научно-исследовательский институт в Новосибирске?)... Звонок следовало принять, записать – о чём и дежурить дальше... Ну, на случай, если что загорится – тушить, если ворье – задерживать и пиздить... Оно нам надо? Как-

то раз нас там собралось человек шесть. Пили из карандашных стаканов на столе у секретарши и из спортивных кубков в стеклянном шкафу. Ссали в кадку с пальмой. Но это так, к слову. Пальма, кстати говоря, в конце концов, засохла.

Я вышел на улицу и задохнулся от запаха свежего снега. Он уже кое-где начал подтаивать, но был еще первозданно чист. Мы шли с Каратом, оставляя такие ясные, такие красивые, такие непорочные следы. Я шел без шапки и без куртки, которые еще надо было отыскать. Солнце и нежный ветер застревали у меня в волосах. Пели похмеленные птицы. Сидели на крышах складов похмеленные коты. Высоко в небе оставлял инверсионный след похмеленный истребитель. Но всем – птицам, котам, истребителям, тракторам, сямкам и комбайнам, всем в этом мире – хотелось выпить еще. Потому что, если говорить откровенно, в это утро больше делать было особо не хрен. Со вчерашнего дня я был в отпуске. Одна забота – получить отпускные. После обеда.

В сторожке было, как всегда перед тетей Клавой, чисто, бутылки выброшены, окурки выметены, топчан заправлен как следует и чайник закипал.

– Давай, я Карата к Грею запущу? – сказал я, открыв дверь, не заходя.

– Давай, давай. Пусть порезвятся.

Я прикрыл дверь, подошел к загородке, Грей услы-

шал шорох и было зарычал, но потом узнал меня и я увидел через щели молчаливые немигающие глаза. Ключ от загородки висел всегда рядом с замком, на гвоздике. Это был единственный ключ на мехдворе, который отродясь не прятали. Никому и в голову не приходило его стащить. Или, тем более, им воспользоваться. Не та ситуация. Я открыл калитку и Карат просочился туда, улыбаясь своему товарищу. Закрывая калитку, я увидел как Карат схватил лежащую на земле кость и побежал с ней вдоль забора. Грей, полный театральной злобы, помчался ее отнимать.

Мы с Митричем быстро выпили водку – грамм 150-то всего и было и бутылку пива. Открыв форточку, выкинули подальше бутылки и стали делать вид, что пьем чай. Впрочем, Митрич его и пил. Я же не стал портить чайную чашку – все мое нутро и губы источали такую «Лесную воду», что я благоухал, как цирюльня.

– Главное в нашем деле – это вовремя и не спеша похмелиться, – сказал Митрич, отхлебывая горячую жидкость, – ...и незаметно. А то ты на той неделе, Алкаш, вспомни, песняка начал давить вместе с петухами. И кому от этого хуже?

– Да ладно, Митрич, ты еще тут будешь... Кто, блядь, ночью купаться ходил?

– Кто? Я? – удивился Митрич.

– А то я... Хорошо, реки рядом нет. Вон, под навесом бочка с водой. Харю кто туда пихал?

– Да? Так я, наверное, мылся... Или еще чего...

– Ты бы до сих пор мылся, если б не я. Я тебя за ноги вытащил.

– То-то я думаю, что я весь мокрый! Нет, в натуре, туда лез?

– Да пошел ты, Митрич! Я уходил к себе, а вернулся – ты без крыши и с бабой какой-то.

– А баба где?

– А я ебу?..

– Во дела... ничего не помню. А шурин был?

– Ну, куда без него. Заявился часа в два. С другом и с пойлом. Бабу друган потом увел. А ты еще хотел баян разбить. Об его голову.

– Шурина?

– Да не шурина – друга. Что-то ты трудный сегодня, Митрич.

Митрич пожал плечами и почесал репу.

– Да, дела. Баян-то целый, вон он – в кладовке. Спрятал, как всегда. Клава его терпеть не может.

В окно уже вовсю било солнце. Капало с крыши. В форточку залетал ветер и чирикание воробьев. День рос на глазах. Какой-то ранний сукин сын уже заводил трактор. И тут открылась дверь и вошла тетя Клава. Здоровая 50-летняя женщина без признаков увядания. Тумба в юбке. Монумент вахтеру. Памятник сторожу. Каждая грудь – с ведро размером.

– Здравствуй, Николай! – посмотрев на меня, она

просто кивнула мне головой. Я тоже.

– Ну, как, все в порядке? Не пили, не гуляли?

– Как можно, Клава? – по-моему, Митрич ее немного боялся, – тока чай.

– А вы что, одеколон разбили? – тетя Клава повела носом, как ищейка.

Мы с Митричем переглянулись. И хором заорали:

– Ага! – и уже Митрич один:

– Ну я пойду, Клава. Сдал – принял?

– Ладно, иди. Сдал – принял.

Я забрал Карата из загородки. Вернулся к себе в барак. Выкинул весь мусор, помыл пол, проветрил комнату. И стал отмываться сам. Вода в моей конуре была одной температуры – близка к точке замерзания. И зимой и летом. Где там проходила эта труба, по каким таким холодильникам – это мне неизвестно. Трубы с горячей водой не было здесь никогда. Только две толстых трубы отопления. Мне за пузырь летом врезали в одну трехчетвертной кран и я брал эту воду для хозяйственных нужд. Постирать там, помыть пол. Эта вода, напротив, была до невозможности горяча. Ну просто кипяток. Нет в мире совершенства, как говаривал Экзюпери по совсем другому, правда, поводу.

Я срезал с лица платиновым лезвием все растущие не там волосы. Я почистил зубы, извел на себя полкуса хозяйственного мыла, кинул все грязное в ящик и долго гладил рубашку, слушая, но не смотря телеви-

зор. Гармония из меня выходила по мере трезвения и это было невыносимо. Зато я блестел, как новый полтинник. Карат лежал возле двери, положив голову на чистый пол и беззвучно ржал надо мной.

По телевизору опять мелькнуло сообщение о бродячих собаках. Я на пару минут перестал гладить. В Заводском районе растерзано двое – мужчина и женщина. Почти в одно и том же месте. С промежутком в несколько часов. Женщина поздно вечером. Мужчина рано утром. И опять фургон «Спецавтотранса», и опять на его фоне отморозки. Те же, но совсем другие. В камуфляже и с ружьями. И не кажущиеся уже отморозками. Идет время. Важнеют люди. Наливаются, как яблоки, значимостью. И смотрят, суки, совсем по-другому.

К обеду я сварил овсянки, накормил еще раз своего пса, поел сам ту же размазню и пошел за деньгами. Карата я запер в комнате, оставив ему полведра воды и, опять же, остывающую в миске овсянку. Хотел оставить его на улице, но передумал. Может, из-за сообщения по телевизору. Мало ли. Уйдет куда-нибудь, попадет под этот фургон.

А в институте меня уже предупреждали, чтобы не заходил в здание с собакой. Какого хрена им не нравится? Собака, как собака. Кошки ходят, им можно? Серут, понимаешь, везде... Дурдом...

Получил я деньги на удивление быстро, спустился на крыльцо и закурил. Жизнь обретала вполне опреде-

ленный смысл. И вполне определенный маршрут. Не было только, так сказать, внутреннего толчка, знака судьбы, виража фортуны. Я пошел, чистый, как утренний снег, уже растаявший и впитавшийся к этому времени в землю. Что еще надо человеку? Я искал это. Ну, то, что надо. Ну, то, что искажает эту блядскую реальность. И приводит ее к великому перерождению.

В магазине я прошел мимо стекла и пластика витрин, хмуро чувствуя свое одиночество. И в этот момент вираж фортуны появился в виде Васьки, покупающего хлеб. Я подошел сзади и взял у него из рук буханку.

– Э, э, э! – вцепился в нее Вася, но увидев меня, отпустил. – Хрен с тобой, неси сам. Здорово, Алкаш!!!

Мы пожали друг другу руки.

– Здорово! Ты с каких это пор хлеб покупаешь?

– С таких. Я это... у Ирки живу. Помнишь?

– То-то я давно тебя не вижу! И пить, небось, бросил.

– Так, это... не одобряет! Говорит – ты пьяный на клоуна похож.

– Не на клоуна, Вася. На артиста! Артист – это звучит охуительно гордо. Пошли на улицу!

На улице я повертел в руках хлеб и отдал ему:

– Что это я действительно его несу? На, заberi. Ну-с, вино какой страны мы предпочитаем в это время суток?

– Уйди, зараза, я трезвенник! – Он сунул хлеб в пакет

и вдруг сказал, – пива бы для начала... Ирка придет где-то в семь. Я там суп варю и всякое такое прочее. У нас четыре часа. Успеем? Только чинно и благородно.

– Старик, будет как в сказке! И чинно тебе, и благородно, и прочее.

...Пиво с водкой – это самый популярный российский коктейль. Но если Вася именно мешал это дело перед употреблением, то я предпочитал смешивать компоненты в желудке. Как в детском саде – ложку каши, глоток молока. Стопарть водки – стакан пива. И черный хлебушек, как водится.

Суп мы сварили совместно. Трудного в этом процессе для двух мужиков, находящихся в приступе вдохновения, ничего нет. Через два часа мы запели – сначала тихо, потом чуть громче. Гитара была мне знакома. На ней еще, если присмотреться, остались мелкие точки высохшей крови. Моей крови. С Васи, конечно, певец – как с хуя голубец. Но всегда, сколько я его знаю, старался не испортить песню. И не орал, как другие, дурниной. Так, мычит что-то. Бэк-вокалист, ебать его в сраку.

– Ты знаешь, Алкаш, я ведь у нее, у Ирки, на второй день остался. Я у нее записную книжку забыл. Записывал ее рабочий номер телефона и там же и забыл. Утром проснулись с тобой – это еще у Федора было, хотел звякнуть, а книжки нет. Думал – потерял, сначала. Потом, думаю, дай схожу вечерком, как она с ра-

боты придет. Пришел, а она уборку заканчивает. Мы ж там, если помнишь, такое устроили! Я с вином пришел. Сухое какое-то, так, понт один, а не выпивка. А она полфужера выпила и больше не пьет. Качает этот фужер в руке. И я не стал. Что там пить-то? Квас. Она молчит. И я молчу. Непонятно. Потом говорит – ты помнишь, что вчера говорил? А я, Алкаш, и понятия никакого не имею – что я вчера говорил. Мало ли, что я там говорю. А она вдруг встала, фужер об пол и в слезы. Я ж тебе говорю – мы когда-то вместе с ней работали, в одном месте. Ну работали и работали. Я потому ее и знаю. И танцевали с ней на всяких вечерах, бывало. И даже целовались как-то. Но ничего такого больше не было – как-то мимо все. То она вскользь, то я. И потом, Светка, меня все время пасла. А Ирка – она, оказывается, меня помнила. Тот самый поцелуй второпях, под какой-то казенной пальмой. А ты помнишь, что я там нес?

– Да вроде что-то про любовь и нежность...

– Вот, вот. И ударило ей это в голову. И оказался я в дурацком положении, потому как, вроде, я сукин сын и подлец. Ну не кино? Кино. «Богатые – тоже люди». А я встал, подошел к ней и обнял ее. И все слезы в меня ушли. И высохли. Тебе, говорит, есть куда идти? Некуда, говорю. Тогда она постелила мне на раскладушке. И сказала, чтоб не смел к ней приставать, потому что от меня еще Светкой пахнет, а она этот запах терпеть

не может. Как и саму Светку.

– И долго это... от тебя Светкой пахло?

– Долго. Дня три.

– А потом?

– А потом мы дня три из постели не вылезали. Ну, давай по маленькой!

Мы пили очень даже чинно. И благородно. До того благородно, что я опомнился только, когда пришла Ирка. Она встала в дверях и смотрела на нас (может, все-таки, на меня?!) огромными стреляющими глазами. Вася кинулся к ней, предваряя ее первую фразу:

– Ира, у нас все хорошо, у нас все есть, суп сварили, пили немного, погода хорошая, я тебя обожаю, Алкаш тоже, где ты была так долго?

Произнеся всю эту тираду, Вася снял с нее куртку и повесил на вешалку. Ира махнула рукой и улыбнулась.

– А, черт с вами. Все равно уже пьяные...

– Я извиняюсь, – начал я гундосить, – мы слегка подшофе. Но никак не пьяные. И я готов доказать это...

– Потом докажешь. Налейте-ка мне тоже. Замерзла что-то.

– Вася помчался к шкафу за приличной рюмкой. Через 20 минут Ирина была накормлена и напоена до нормального состояния. Потом она прильнула к Васе и больше от него не отлипала.

– Давай, Алкаш, что-нибудь споем, а? – предложил Вася и свободной рукой разлил остатки водки. – или

лучше спой сам...

По хрустальной улице шел почти что трезвый я.
Голуби и барышни уплывали в дым.
На хрустальной улице меня не зарезали,
И не сбили в лужицу голубой воды.

Еще не исколотый, еще не изломанный,
Не седой, не старый я, даже при деньгах.
Вечер красил улицу самоварным золотом,
Тени вились змеями у меня в ногах.

По хрустальной улице, по закатной улице
Проплывали голуби, дамы, фраера.
На карнизе розовом кот устало жмурился
И машины черные сняли номера.

Шел я на закат, как зверь, улыбаясь сумеркам.
В тупиках тревожная затаилась ночь...
Был я в каждом шорохе, словно я в лесу зеркал,
И никто на улице мне не мог помочь.

На пустынной улице, гулкой и окраинной,
Почти незаметные замерли шаги.
И я их почувствовал, словно брата Каина,
И меня почувяли давние враги.

По хрустальной улице шел почти что мертвый я.
Небо стало матовым, низким и седым.
И меня зарезали на улице чертовой
И толкнули в лужицу розовой воды...

– Что за настроение, Алкаш? – спросил Вася.

– Да... хрен его знает. Серебро какое-то. Падает с неба. Гул. Я ныряю в это серебро и плаваю в нем, как карась. Я хожу по этой земле, а она уплывает у меня из под ног. Я иду по миру, а он как будто не хочет меня видеть. Я иду к людям – и всегда один. Я заглядываю в окна домов – а там нет меня. Я хочу знать – для чего живу – и не нахожу ответа. Серебро.

– Серебро. – согласился Васька. – Потому и пьем. Дай нам всем Бог здоровья. А ты, Ира, знаешь – зачем живешь?

– Не спрашивай меня. И не дергайся. – она обнимала его уже обеими руками. – Мешаешь...

Я встал, попрощался и ушел. Такие вот пироги. Серебро...

Я пошел в холл, где когда-то встретил Лису. Я закурил и смотрел вниз, на замолкающие улицы. Блистеры золотым и розовым лужи. Набегала ночь. Спроси, меня, кто-нибудь – чего ты хочешь? Чем ты живешь? Куда ты идешь?

«Напиши мне письмо, Одинокий Ветер»...

Из тысяч людей только один понимает – откуда он пришел. Бывает, что просекая точку отсчета, человек тут же старается изгнать это из своего мозга. Не надо винить его – это рефлекс, логика биологического объекта. Все, что мешает существовать – должно исчезнуть или быть игнорировано. Из тысячи людей только один понимает, что все это не имеет никакого смысла. Мы пришли на эту планету, чтобы исполнить прихоть звездного существа – мы должны убить себя. Так уничтожает себя любая изолированная колония живых. Этого звездного не интересуют наши души, он сразу знал – знающих тайну убьют другие люди. Но этот звездный давно забыл о нас. В круговороте сущего он сам стал частью другой игры. Когда он стал пить нашу кровь – в тот же миг, в тот же час – он сам стал стаканом крови. И другой, сверхзвездный, стал питаться им. Мы пришли издалека – споры, семена другой жизни. Мы принесли с собой законы того самого, звездного создателя. Мы питаемся кровью других людей, не замечая иглы в собственной вене. Мы ненавидим других людей, не видя занесенного над шеей ножа. Конец истинной кровной вражды может быть только один – уничтожение врага. Но разве враг стоит на месте? Да разве есть смысл в этом круговороте! За чертой смерти мы становимся кусками тумана. Что может потерять этот туман, чего он может бояться, для чего ему нуж-

но ненавидеть? ТАМ – мы все одинаково светлы. Для вампиров нет ада – в том месте, куда они попадают после жизни, у них просто отнимают возможность пить кровь. И чем больше вампир, тем страшнее голод его. Насыщение никогда не приходит к вампиру, как не приходит к нему покой. Ненавидеть просто. Для этого не надо стараться – ненависть витает в воздухе, мы ей дышим, мы пьем злобу из рек и озер, мы забиты ею по горло. Любить трудно. Для этого надо посчитать человека ближе, чем он есть от природы. Для этого надо перестать стать безразличным к нему, и не забывать, что безразличие – просто другая форма ненависти. Как просто отвергнуть слова: « Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за злословящих и преследующих вас»! Долгих пятнадцать лет мне потребовалось, чтобы услышать их, и еще столько же, чтобы понять их. Ненависть не может ничего создать, она может только разрушать. Праведный гнев или неправедный гнев – это все равно злоба. По цепочке событий она вернется к тебе удесятеренной, она проглотит тебя, растворит твою душу, сделает из тебя раба. Трудно не пустить ненависть в свое сердце. Трудно любить всех. Трудно представить, что это – единственная правда на свете. Трудно поверить, что мы живем для этого. Пусть не станет закон звездного существа законом твоего сердца. Пусть не станет душа твоя стаканом крови...

– Ветер?

Я оглянулся. Сияние рыжих звезд. Дыхание зеленого свитера. Сигарета, белая, как косточка, в пальцах ангела. Искры на ногтях. Серебристые искры. Маню. Я узнал это серебро. Я взял его в свои руки. Я целовал каждый пальчик. И укатилась далеко-далеко, в темноту и холод мозаичного пола так и неподкуренная сигарета.

– Лиса...

Стая Одинокого Ветра-6

– А где же все остальные бляди?
Хрущев на летном поле 14 октября 1964

Так бывает сплошь и рядом. И, как подметил великий Джером, не только у меня. Все болезни сваливаются на нас во время отпусков, каникул, выходных, праздников и прочих радостных дней. На вторую неделю ничегонеделания, при наличии денег, пошла, настроения и при отсутствии забот, хлопот и так далее, меня свалила невиданная ангина со всеми ее 40 градусами и полным отстрелом мозгов. Я плыл по долине гейзеров, и фениксы слетались на мою голову, и дышал я, как рыба на июльском песке, и лежал я, размокший, как кусок рафинада. И смотрел я на телефон на тумбочке, и не мог до него дотянуться. Карат стоял рядом, заглядывал мне в глаза, но ничего не мог сделать. Когда ангелы уже стали настраивать арфы, я диким усилием воли добрался до телефона. Самым тяжелым было объяснить – где я живу. Я, честно говоря, и сам не знал, как это типа жилье называется. Поэтому попросил обратиться на КПП, а там, вроде, покажут. Не прошло и года, как они приехали. В комнату зашла докторша со всеми своими размножающимися на глазах чемоданами и осмотрела труп. Труп пытался разговари-

вать. И даже шутить. Потом он долго вытаскивал свою жопу из-под одеяла под спасительный шприц. Потом он так же долго ее туда обратно пихал. Потом докторша ушла, оставив кучу бумажек разного цвета. И я уснул. В голове не было ничего, только воспаленное пространство с гнойными искорками. Потом это пространство стало бездонно черным.

Утро я увидел через закрытые глаза. Пространство стало розовым и пульсирующим. У него появился цвет, свет и голод. Кое-как, через Ирину, я вызвонил Ваську. И он явился. Он принес с собой запах уже не таявшего снега, апельсиновый сок, сало, суповую кость, конфету, всякое другое говно и бутылку водки. И перец. Черный, молотый, жгучий, кусачий перец в пакетике.

– Ты это... ты эти таблетки выкинь, – сказал Вася, нарезая сало, – с них толку все равно нет. Вот водочка – это жизнь. Потом, ты завтра на прием когда пойдешь – они тебе посоветуют гланды эти – на хрен. Во-первых, что с них взять, они в советском мединституте учились. Политинформации там, акты протеста, в Сантьяго идет дождь, фестиваль молодежи, дискотека и тэдэ. Я же у них в общежитии жил. Они еще больше нашего пьют. Какая там, на хрен, клятва Гиппократа! Во-вторых, у них такая установка – резать и еще раз резать. Посмотрит в твою пасть поганую и безразлично направит тебя куда надо. Ну-ка, открой ебало!

Я открыл рот. Он бросил нож, взял мою голову в руки,

повертел, ловя свет и произнес:

– Да, один гной. Все гланды в прыщах. Скажут – вот вас вылечим, а потомотрежем. Скажи ты мне, тупорылому, зачем человека вылечивать, а только потом, здоровому! – он поднял палец, – только потом резать гланды? Ладно, сейчас мы это дело поправим...

Он разлил водку по стаканам – себе поменьше, мне побольше, открыл пакетик с перцем, высыпал из него добрую половину в мой стакан, размешал ножом, взял его, посмотрел на свет, еще помешал.

– Ну сам бы пил. Такая вкуснятина. – он протянул мне эту отраву с овчарочьей улыбкой.

– Не умру? – спросил я, беря стакан.

– Ясен хрен, умрешь. Только не запивай. Смоешь все лекарство. Тут смысл в чем? Стафилококк, конечно, от перца не погибает. Но организм хуеет и начинает брыкаться, поскольку он тоже живой. Организм любого существа, Алкаш, мудрый, но наивный. Обмануть его – два пальца обоссать. А вот победить – очень трудно... К тому же перец локально поднимает температуру и тащит на себя кровь. А кровь – это тоже жизнь, как и водочка. С ней придет все, что надо и уйдет все, что не надо.

Я выдохнул, покачал головой и выпил – как в котел с кипятком нырнул. Организм даже не охуел – опизденел. Он проснулся с такой силой и недоумением, что меня подбросило вверх. Глотка сгорела тут же и пере-

стала ощущаться вообще. Огромный солнечный шар поселился внутри меня и рос, как на дрожжах. Я перестал дышать и даже не мыслил, что когда-нибудь начну дышать снова. Вася в моих глазах стал разбухать, потом потек куда-то вниз вместе со слезами. Я схватился за горло и показал свободной рукой на пакет с апельсиновым соком, на что Вася сложил самую заурядную фигуру.

– Это что? – наконец сипло выговорил я лет через двести, – просто перец?

– Ну, конечно! – заржал Вася. – Это специальный перец! Для Алкашей. И кашлять, кстати, тоже нельзя.

Я и не думал начинать кашлять. Это было, видимо, то же самое, что вырвать себе кадык. Я наступил на горло всем песням и звукам, которые только знал. Но понемногу мир стал не так уж плох. В нем появилось тепло, нега и запах сала. Из него исчезло «вчера» и «завтра». И появилось «сегодня».

– Так вот, – продолжил Вася, наливая по второй, – тебе с перцем? Ладно, ладно, не вставай, без перца... Так вот, гланды, или по-нашему, по-научному, небные миндалины – часть лимфатической системы. Они, Алкаш, в какой-то мере отвечают за иммунитет. Уберешь миндалины – от инфекции не спасешься, но она осядет уже не на них, естественно, а пойдет глубже. Так что – не режь. Закаляйся там, обливайся, и будь цельеньким. В организме ненужных частей нет. Это тебе

любая женщина скажет.

Карат под столом самозабвенно расправлялся с суповой костью. Слышался скрип испуганных хрящей и хрумканье. За несколько минут он съел ее полностью. Я всегда удивлялся – каким образом он их перетирает. Не мясо, не суфле. Была кость – нет кости. Как-то шурин Митрича принес ему искусственную. У него убежала собака, и была у этой собаки игрушка – огромная долгоиграющая кость из какого-то сплава, пластмассы, или еще чего. Кость эта едва заметно пахла мясом и благополучно прожила у шурина полгода. В инструкции рекомендовалось почаще ее мыть щеткой, про срок службы не говорилось ничего, а мелким шрифтом сообщалось, что если отдельные мелкие кусочки игрушки попадают в организм собаки, то это не опасно, поскольку она из органики на 100 процентов. Подразумевалось, видимо, что эта кость – вечная. У Карата это буржуйское изделие прожило ровно 15 минут. Митричев шурин долго не верил и все искал эту кость, пьяный, вокруг сторожки. Думал, что Карат ее закопал.

Через часок Вася ушел, а я откинулся на подушку и стал выздоравливать. Телевизор бубнил про политику, а я смотрел в потолок и думал. Как-то вдруг резко захотелось двигаться, бегать, прыгать и надрываться. Ну что за блядский организм! В здоровом виде он не хочет делать ничего. Любое движение для него – нуд-

ная необходимость, тоскливая обязанность и одолжение хозяину. Но едва стоит лишить его этой возможности, как ему, видите ли, сразу это жизненно важно. Мудрый, говоришь? Но наивный, говоришь? Ладно, завтра ты у меня взвоешь... А почему не сегодня, спросил организм. А потому что твой хозяин слегка пьян. Так ты и завтра будешь пьян, сказал организм. Почему это, спросил я. Так ты каждый день пьян, сказал организм. И давно, спросил я. Да, почитай, лет пять уже, сказал организм. А трезвый я бываю, спросил я. А ни хуя, сказал организм. Дык, пора завязывать, сказал я. Организм с изумлением замолчал. Потом он тихо согрелся, благодарно свернулся калачиком и уснул. Мы спали как убитые. Я и мой организм...

Я – ночное облако.

Я – облако в ночи.

То, что ты видела раньше – это физическая оболочка, она может порваться, исчезнуть, постареть. Облако в ночи не стареет. Оно проходит сквозь деревья, траву, оно уходит в землю и возрождается из воды. Оно – вечно. За тысячи лет оно растворило в себе мысли, чувства, взгляды, слезы миллиардов людей. Его нельзя убить, нельзя дотронуться до него. Но его можно почувствовать.

Закрой глаза. В тебе тоже есть свое облако. Когда ты засыпаешь или думаешь о чем-то, облако выходит из тебя. Оно – реально. Твое тело живет там, где надо

есть и пить. Твое облако не требует пищи. Но оно требует света, ночи, дождя, травы, другого облака, неба, потому что оно и есть – свет, ночь, дождь, трава, другое облако, небо. Ты не можешь исчезнуть, потому что это все нельзя убить. Не замечать можно, но убить – нельзя. И вот ты летишь ночью – почти незаметное в темноте. Ты теперь чувствуешь себя по-другому, потому что руки, ноги, позвоночник, глаза, губы – все это не нужно облаку. Тело теперь фантомно. Оно призрак облака, как, может быть, настоящее облако – призрак воды.

Земля шелестит внизу. Ты проходишь сквозь ветви самых высоких деревьев, скользишь по горам, смешиваешься с другими облаками. Ты – нигде не кончаешься. Что означает – нигде не начинаешься.

Все твоё почти исчезает. Остается ровно столько, чтобы не потерять себя вовсе. Все святые умерли, все боги умерли, тебя не надо спасать, не надо гнаться за тобой. Бесформенность, пожалуй – самая изысканная форма. И её может создать твоё облако и её нельзя повторить.

А теперь открой свои фантомные глаза, вытяни руки, через которые проходит свет и в которых преломляются млечные звезды. Дыши фантомными легкими, впитывая небо, которому миллиарды лет. Слушай, призрак своего облака! Когда через много лет на этой ступеньке вселенной не останется ничего, кроме огня

– ты не исчезнешь. Ты пройдешь сквозь ад, сквозь рай, но это все иллюзия, это все придумали даже не облака – люди. Когда-то Казимир Малевич писал картины, пытаюсь отразить мир таким, каким он его видит. Но все дело в том, что люди смотрели глазами, а Казимир пытался писать сердцем. Он пытался по-всякому, ломал линии, изображая куски мира. А потом – прозрел. И появилась последняя картина вселенной – «Черный квадрат». Искусство кончилось. В ряду других картин квадрат – абстрактная нелепица, взбрык эстета, жест уставшей кисти. В ряду картин Малевича он похож на смерть его облака. Больше Казимир мог бы не рисовать.

Так вот, когда через много лет на этой ступеньке вселенной не останется ничего, кроме огня – да сохранит тебя кто-нибудь от черного квадрата...

...Минус 9 по Цельсию – температура детская. Я бежал голый по пояс, дыша носом. Снега еще было мало, тропинка еще всю использовалась дачниками и была в меру утоптана. Справа, легко и с юмором, меня обгоняли Грей и Карат. Уходя вперед мощной рысью, по пути весело огрызаясь друг на друга, они возвращались мне под ноги, едва не сбивая. На их лицах было написано никак не скрываемое превосходство. Более сдержанный Грей играл мускулами, как гладиатор – вещь в себе, загадка духа, ужас ночи. На Карате, струилась разноцветная шерсть. Когда он бежал – он

весь переливался, как водопад. Когда прыгал вверх – взрывался черно-белым фонтаном, когда приземлялся – шерсть еще летела вниз. Улыбка дельфина, жемчуг зубов, смех ночи.

Березовый лес, голый, почти зимнего уже цвета, молчал, как молчат спящие. Только шумели вверху черные ветви с желтыми блестками случайно оставшихся листьев. Такие же блестки пятаками неслись под ноги. Я бежал уже не тяжело, как пять дней назад, когда дрожали ноги и бешенно колотилось сердце. Я тогда и пробежать-то смог километра два от силы. Водка и сигареты выходили липким, ядовитым потом. Организм, почувствовав какие-то перемены мощно избавлялся от всякой дряни. Я кашлял – как рыдал. Меня рвало на опушке чем-то черным. Понос скрутил меня прямо на бегу. Такая вот симфония. Фа-мажор. Умненький у меня организм, хороший. Ладно, не трепыхайся, сказать уже ничего нельзя.

На правом локте у меня – манжета на «липучке», защищающая от холода давно поврежденный сустав. На руках – шерстяные перчатки. На ногах – кроссовки с яркой надписью «Adibas». Великая мудрость ехидного китайского народа. И шапочка с идиотским зайчиком на голове. Насрать. Я бегу. Я буду бежать, пока есть силы. А сил у меня – вагон.

Березовый лес кончился, пошел осинник, обглоданный лосями. Их здесь штук пять – и все на учете. По-

пробуй тронь. На них даже тавро проставлены. Сегодня я их еще не видел. Осинник кончился, мы вырвались на замерзшее поле. Снег тут был, но его уже сдуло. Через несколько дней сюда не попадешь – увязнешь. Я решаю бежать через поле. В поле я для собак даже и не объект насмешек – карикатура. Ничего, сукины дети, я еще свое возьму. Я бегу и смотрю под ноги – любой кусок замершей почвы может неправильно попасть под стопу, и тогда – травма. Нет уж, бегите, бегите, шерстяные. Псы мощно и радостно превращаются в быстро уменьшающиеся точки – сумасшедший заяц вылетел сдуру из какой-то кучки жнивья и сквозанул, как за бутылкой. Хрен там вы его поймаете! Через несколько минут обосранные донельзя псы прибегают ко мне. В глазах – шитое белыми нитками безразличие ко всем зайцам мира. Я молчу. Я потом буду смеяться. Я еще вспомню. Поле кончилось. И, сразу за полосой тальника, – невысокий, в рост человека, обрывчик, песчаный пляж и река. Я прыгаю вниз, тщательно выбрав песчаный пяточок. Грей, не раздумывая, летит следом, уже в полете ища – куда опуститься. Карат хитрый. Он бежит влево, ищет спуск, стекает по нему и возвращается к нам, всем своим видом подчеркивая нашу крайнюю тупость. Ну ладно, ладно, умный, рожка твоя протокольная. Карат наклоняет набок голову. Я треплю его по шее.

... Я разделся догола, помахал руками, потянулся и

пошел к воде. Выше по течению – плотина ГЭС и река здесь перемерзает только в декабре – январе. Если вообще перемерзает. Уровень воды все время пляшет и не дает закрепиться закрайке по-настоящему. Сейчас у воды была небольшая рваная лента острого льда. Я перешагнул через нее и быстро пошел по воде, погружаясь по колени, пояс, грудь. Дыхание отказалось работать напрочь при такой температуре и я был не против. Потом я нырнул...

Солнце лопнуло и погасло. Я скользил в глубину, не чувствуя своего тела. Жгучая вода отняла у меня кожу, зрение, слух. Я раскованно падал в холодный мрак ада и звучали в моем мозгу мольбы и проклятия. Чужие. Своих у меня не было. Было только ощущение могущества, разрывающего мое тело. Был звон бессмертия. Была радость не вынырнуть никогда. Была агония сухопутного существа, вспомнившего зов глубины. Сердце шелестело в ушах, не понимая – как ему биться. Организм хуел, не хуже, чем от «Лесной воды»... Умри вот сейчас – так и пойдешь мертвый, не понимая своей смерти и не веря в нее. Вот откуда берутся зомби. Это просто человек не знает, что он умер. Ему не сказали. Такая вот незадача. Такая вот жажда БЫТЬ, даже мертвым... Слышу тебя Карат, слышу...

Развернувшись в глубине, я позволил себе всплыть. ...Я выскочил из воды чуть не по пояс, и мотнул головой, откидывая мокрые волосы. Брызги, сорвавшиеся

с них, полетели далеко назад. И вернулся мир. Только в нем не было пока температуры. Никакой не было – ни положительной, ни отрицательной. Карат стоял в воде, едва замочив лапы, и не решался прыгнуть ко мне.

– Что, засранец, страшно? – я пошел ему навстречу, гоня перед собой ненавистную ему волну.

Карат виновато, но успокоено крутанул хвостом.

– А если б вправду тонул? Полез бы спасать?

Пес зарычал.

– Ну, мать твою, он еще и обижается...

Карат крутился вокруг меня на берегу, не давая одеваться и все время лез своим носом мне в морду. Все это время Грей кого-то гонял в кустах, но мне не было видно – кого. Потом он вырвался на простор и стал вытирать лапой свой арийский нос.

– Ну, и куда ты его засунул? – спросил я.

Грей чихнул и сел на песок. Явно обескураженный.

Я ребром ладони срезал с себя воду и мы побежали назад. В конце поля кожа на мне высохла и пришел холод. Он не был еще назойливым, он просто говорил, что он есть. То есть я начал чувствовать температуру. И прибавил ходу. В осиннике псы вдруг ощетинились и встали как вкопанные. Потом Грей медленно пошел вперед. Карат за ним.

– Что? – спросил я.

Грей шел и все ниже припадал к земле, вытянув голову. Мне не понравилось это кошачье движение. Мне

вообще перестал нравиться этот лес. Карат обогнал Грея и, перестав улыбаться, мощно начал скрести задними лапами мерзлую землю. Я подошел поближе.

Через осинник, шла избитая собачьими лапами тропа. Свежая тропа. Здесь совсем недавно, после того, как мы пробежали к реке, побывала огромная стая. Она исчезла совсем недавно. Мы могли с ней столкнуться. Я видел комья мерзлой земли, вывернутые мощными лапами. Река из собак прошла вдоль окраины города... Куда? Я вдруг вспомнил сообщения по телевизору. Я вспомнил кадры, снятые на городской свалке. Откуда столько собак? Куда они идут? Я быстро увел своих псов из осинника и побежал домой...

Телефон Митрич взял на удивление быстро.

– Ну, ты что, еще не начал пить? – спросил он.

– А ты еще трезвый? – осведомился я.

– Так день! Воскресенье. Куда гнать? Шурин к вечеру придет. А свой пузырь я так, по маленькой растягиваю. Для души.

– Грей сейчас прибежит к тебе. Слушай, Митрич, в лесу собаки. Я следы видел. Очень много, Митрич. Что они там делают – не знаю. Крупные.

– Да мало ли собак бегают... Может вы свои следы видели?

– Нет. Нас не так много, Митрич. Две собаки – не сто. Чувешь?

– Чую. Не эти ли – с Заводского района? После двух

трупов, там перестреляли всех собак, какие попались. Но только – сам по радио слышал... Не тех, явно. Тех, уже не было. Значит, в лесу, говоришь? Ну дела...

– Не выходи ночью. Грея возьми к себе. Шурина – на хуй. Для них колючка – так, видимость. Хотя вряд ли они сюда пойдут. Но чем черт не шутит? И позвони... я не знаю. В ментовку, что ли? Во, Васькиному брательнику звякни! Пусть разбирается.

– Это можно... Моя милиция – меня бережет...

Карат все это время смотрел на меня. Я погладил его по голове.

– Что, шерстяной? Грустишь? Пошли-ка к Лисе. Ты у нее еще не был.

– ...Э-э-э, – сказал я на вахте через 40 минут. Эту вахтершу я помнил. Не дай бог – и она меня! Впрочем, я всегда покидал общежитие и иногда попадал в него через что попало. По причине холода, путь через колясочную был перекрыт. Черный ход – почему-то тоже. Видать, разьебали их недавно за какой-нибудь аспирантский дебош. Пока я говорил «Э-э-э», Карат вразвалку шел мимо вахты и не был виден из-за стойки. Во всем, уже уходящем в небытие сэсээре, всегда на входе в общежитие есть либо вертушка, либо стойка, за которой сидит вахтер. Либо, как вариант – и то, и другое вместе. Здесь была стойка. И Карат не был виден даже теоретически. Но стук когтей надо было заглушить. И я вежливо осведомлялся о работе буфет-

та на первом этаже. Который, вообще говоря, сроду не работал.

Лисы почему-то не было. Я позвонил в дверь, постоял, пожал плечами и решил сходить пока к Васе. Вася был. Он... мыл пол. Когда я открыл незапертую дверь – на меня надвигалась джинсовая потертая жопа с кожаным лоскутом, на котором было выдавлено «Diesel». Карат с изумлением на нее уставился.

– Если мою морду... и твою жопу поставить рядом, то все скажут, что это – два бандита! – сказал я.

– Слыхали мы эту песню триста раз! – сказал снизу Вася и выпрямился. – Привет! Садись вон пока на стул. Я сейчас.

Вася посбрасывал все ведра, тряпки и прочее в угол, сходил помыть руки, но вернулся почему-то с бутылкой водки.

– Это ты откуда ее вытащил? – удивился я.

– Э-э-э. Из бачка. Я там прячу.

– С унитазного, что ли?

– Ага. «Каждую песчинку вашего вклада мы превратим в жемчужину». Русский дом Селенга. Ирка не хочет, чтоб я пил.

– А где она, кстати?

– Уехала к сестре в деревню. На выходные. Ну-с, водку какой страны мы предпочитаем в данное время суток? Хотя, о чем это я? Водка бывает только одной страны – нашей. Все остальное – фуфло.

– Так я это... спортсмен. И все такое. Сейчас вот с Каратом купались в речке. Бегали.

– Да? Так вы замерзли, мать вашу!!! Быстро на кухню!

Сказать, что я не хотел выпить – было нельзя. На самом деле, меня просто трясло от желания пропустить литр-другой. И это в корне отличалось от привычного желания опохмелиться. Потому что опохмел – акт физиологии, так сказать, потребность тела и казус органической химии. Когда уходит после нескольких дней воздержания утренний депрессняк, то остается кристальное и возвышенное желание просто прикоснуться к великому изобретению Дмитрия Ивановича. И сдержать это желание бывает еще труднее, чем победить абстинентный синдром без алкоголя. В общем, я шел за Васей как осел за морковкой. Или что им там привязывают на шесте перед носом? Когда на столе оказалась сельдь в горчичном соусе, черный хлеб и картошечка – мой организм пошел вешаться. Он понял все. Он не хотел в этом всем участвовать даже символически. А нельзя, скажем, сельдь без водки, спросил он, намыливая веревку. А нельзя, сказал я. А нельзя, скажем, перекусить слегка, фуршетно и без акцента на алкоголь, спросил организм. Почему нельзя – можно, не совсем уверенно сказал я. Тогда я потом, сказал организм, откладывая веревку. Уж больно селедочки хочется...

Карат получил хранящийся для него на дне холо-

дильника пакет со всякой вкуснятиной и залез в него лицом по уши. Аппетитный хруст витал в воздухе. И мы сели за кухонный стол, потирая руки.

– Ирка – баба хорошая, – сказал Вася. Только не любит, когда я пью. У нее ведь муж был и от этого дела умер. Ну, или не от этого, кто знает – заснул пьяный, проснулся мертвый. Она меня замучила – будит, понимаешь, по ночам, когда ей кажется, что я не дышу. А я ж не храплю. Вот и будит. Да еще спросонья как вскрикнет! Я вскакиваю и хую. Тревога, по коням, немцы в городе и все такое. Потом успокаивает. А сна-то нет уже! Вот и сплю днем. Но скоро это прекратится...

– Почему? – спросил я, делая себе самый вкусный бутерброд на свете.

– Так работать же надо. Тут знакомый мой фирмочку организовал – приглашает.

– Что делать будешь?

– Да так, коммерция. Светка ж меня не зря натаскивала. Ты ж в курсе – она еще и советское время делами заправляла. Не дай бог, сейчас наши пути с ней перехлестнутся – все, кранты, сожрет и не подавится! Ну да насрать, разберемся. Дай-ка я музыку включу.

Вася включил магнитофон, стоящий на холодильнике. Оттуда потек разнузданный русский шансон. В России все разнузданное – даже шансон, который в оригинале если не сдержан, то хоть при бабочке. Здесь никаких бабочек не было. Косоворотка, знаете ли. Мы

чокнулись и выпили, закусив небесной сельдью в горчичном соусе. Потек, потек мир отдельно от нас. Красота. Пускай течет. А мы – смотреть будем. Художники мы. Пиросманишвили. Пир трех князей. Такое вот состояние.

После третьей стопки Вася вдруг загрустил.

– Ты чего? – спросил я.

– Да песня, мать ее... Была у меня в институте подруга. Никаких сексов. Просто охуительная девушка Лена одного со мной роста, крупная и здоровая как лошадь. Кровь с молоком. Вообще я ходил не к ней, а к ее подружке... вот черт, забыл, как зовут. Они жили в комнате на двоих. На втором этаже. Я – на пятом. В комнате на четверых. Вертеп разврата. Пивная нора. Филиал хора имени Пятницкого. Я – единственный городской с нашего курса, кто жил в общежитии. На четвертом курсе меня, наконец, выкинули оттуда на хуй. Выкинуть-то выкинули, а как меня выгнать реально? Никак. Не тюрьма, не зона. Захотел – зашел. Захотел – вышел. А поскольку на непроживающего вообще никакой управы – отстали. И я опять стал там жить. Но это так, к слову.

Ленка была здоровая, как лошадь. Ну, это я уже говорил. С ее подружкой у меня чего-то не заладилось. Потом эта подружка стала часто где-то шляться и, в общем, Ленка подолгу жила вообще одна. Я, по старой памяти, заходил. Приду – этой подруги нет. Прине-

су, чего сворую в учхозе, поесть. Или водки. Она пила, но не сильно. Идеальный для меня собутыльник была. Поговорим, поржем. Петь тоже любила. Хорошо пела. Допоздна сидели. Потом идти неохота, да и куда идти – мои сокамерники уже ни тятя, ни мама. Пойло выжрали. Еще и кровать мою заняли. Вытряхивай их, невменяемых. Больно надо. Ленка говорит – ложись на соседнюю, все равно ее нет. Повторяю – без всяких разговоров о сексе и прочей ерунде. Ну не воспринимал я ее с этой точки зрения. Упадем, в темноте еще разговариваем. Хорошо с ней было. Просто.

Дальше – больше. Было время, я вообще у нее жил несколько месяцев. Такая семейная идиллия без всякого намека на семью. Вечером собирается на свидание – Вася, посмотри, как я? Ленка, тебя кто такую вообще трахать будет? Иди сюда. Волосы распущу, пуговицу расстегну на вороте – вот теперь иди. Вообще никакой ревности. Друзья. Она мне рубашку гладит перед свиданием. Ругается. Как можно в такой мятой ходить? Про нас уже говорили, как про состоявшуюся пару. А нам до лампы. Летом на пляже к экзаменам готовились. Она на спине, под газетой, я голову ей на пузо положу и читаю вслух. Потом она перевернется на живот и рассказывает. Я поправляю. Самое интересное – так я вообще ничего не запоминал. Только ночью, почему-то. Но почитать Ленке – отчего не почитать. Пусть запоминает. И подушка классная. Я ж говорю – здоро-

вая как лошадь. Плавала она – как подводная лодка. Всплывает – волна по пляжу.

Как-то влюбилась сильно. Мучилась – смотреть было тошно. Я ей «Абрикотину» принесу, отпою – ничего, оживает. Классная штука для женщин – «Абрикотин». Сам я его не очень – сладкий. Но запах! Свежими абрикосами пахнет, без всяких примесей. Недели две тосковала, бросил он ее. Бывает. Я ее силой на экзамены водил. Ну, не идет, и все! Хоть убей! Поднял ее как-то, да взял неловко – удержал, но руку вывернул. Говорю, сукина дочь, не пойдешь – считай, зря я руку повредил. Пошла. Сдала. На пятерку. Мы оба с ней отличники были. Как-то институт собрал всех их – много получилось – и устроил что-то типа праздника. Ленка меня потом тащила по закоулкам, еле живого. Впрочем, как-то и я ее тащил. Свалил на кровать, накрыл одеялом. Наградил братским поцелуем и ушел догуливать. Одну зиму страшно холодно было. Батареи – так, фикция одна. Помню, каникулы. Две, что ли, недели. И все, само собой, разъехались. В общежитии – пузырь распить не с кем. Тишина и холод собачий. А Ленка осталась. Она там где-то еще работала и не могла уехать. Я тоже что-то делал. Мы сдвинули кровати, я притащил все одеяла со своей комнаты и мы совместными усилиями свили кокон. Это у нас называлось – «гнездо». Заберемся внутрь и спим до утра. Какой там секс. И в мыслях не было. У ней тогда курсант какой-то был. А у меня... Во-

обще экзотика. Баба замужняя. На другом конце города. С ребенком. На студенческой «малине». Я там тоже несколько месяцев провел. Но именно эти две недели мы как-то никуда не рвались. Из-за холода, что ли. Утром надо чай ставить. Долго препираемся – кто будет вылезать. Одни маты. Потом я все же устроил Африку – спер «козла» в соседнем блоке. Там нихром – в палец толщиной и через пять минут – сауна. Одна беда – пробки вылетали с завидной аккуратностью. Со второго или с третьего – плохо помню – курса стали мы в летнее время работать кто где на практике. Она родом с Читинской области, ее сразу в родном селе агрономом поставили и горя не знали. Я, понятно, по экспедициям. Науку двигать, спирт гидролизный пить и прочие радости.

На пятом курсе диплом в первый день сдавал. Защита, если память не изменяет, на месяц растянулась. Я тыквой покрутил – ну, не хочу я месяц ждать. Жить хочу. Пошел на кафедру – говорю, первый буду. Нас там трое таких набралось, тунеядцев. Одно плохо – режим получается ну совсем нереальный. Без сна и отдыха. Про водку и говорить не приходится – не вписывается она. Ленка что, у Ленки еще материалы какие-то должны были подъехать – у нее времени валом и не торопится она. А я тороплюсь. Надо первым отстреляться и потом месяц гулять и не думать ни о чем. Пошел к Ленке. Посмотрели, посчитали. Реально, но не очень.

Успеваю, но в притык. Вызвалась помогать. Ничего подобного. Сам, все сам. Только единственное – за книгами она мне бегала. А так – сам. Последние три дня запомнил. 36 часов без сна. 5 часов сна. 24 часа без сна. 7 часов сна. Кофе в зернах сам молот на кухне и пил тазиками. Успел.

Вышел из аудитории, плакаты свои с таблицами на полу разложил, потоптал ногами. Традиция. Еще полчаса назад пылинки с них сдувал. Тут же, в коридоре, бутылку пива из горлышка. И накатила такая тоска – хоть вешайся. Еле дождался результатов и пошел к Ленке. Хотел, вообще говоря, в кабак. А пошел к Ленке. Она сидит, на меня смотрит, ничего понять не может. А я и сам ничего понять не могу. Тошно как-то, бессмысленно все – и учеба эта, и диплом этот, и весь мир.

Весь месяц пил. Все бегают, суетятся, а я пью и пью. Лежу в общеаге пузом кверху и пью. Очередная партия отстрелявшихся зайдет с пойлом и я с ними. Таблицу какую-нибудь напишу очередному дипломнику и опять пью. Я хорошо таблицы писал. Тогда я еще мог это делать и пьяный. Почернел за месяц как черт. Ленке, конечно, тоже написал.

Не заметил, как время прощаться пришло. В тумане прошел грандиозный отходняк в ресторане. Потом какие-то ночные крики с ракетницами. Фейерверк. Цыплята табака. Ничего не заметил. Одни тени.

Помню только последний день. Уже все разъеха-

лись. Девчонки вообще почти все и навсегда. Парни тоже почти все, но не навсегда – через несколько дней все должны были вернуться на сборы сроком на 45 суток. Офицерье, как никак. Мне куда ехать – я местный. А Ленка здесь, какие-то дела у нее, не уезжает. Пришел к ней.

И комната та же, да не та. Все изменилось. Она бутылку достала. Выпили. Не поется. Не пьется. Всего-то половину и выпили. Стемнело. Я завтра уезжаю, Вася. Утром.

И – как гром с неба. Такого секса, дикого, животного, у меня никогда не было. Я думал, я умру. Тишина, ночь, а мы говорим – а помнишь, а помнишь. И опять секс. И опять говорим. И ночь – как свечка. Сгорела, как не было. ...Я провожал ее рано утром на вокзал. Она разревелась на перроне, странно ее было видеть такую – здоровую, крепкую, кровь с молоком и совсем беспомощную. Я пытался что-то сказать, но она закрывала мне рот своими губами, говоря только одно слово – молчи, молчи. Молчи.

Я ей отдал свой блокнот. Там, среди всякой ерунды, было десятка два моих стихов. Я, Алкаш, и стихи когда-то писал. Сиська-писька, звезда-пизда. Водка-седка. Я запомнил ее на всю жизнь, как она стояла, вся в слезах, в дверном проеме и губами беззвучно повторяла – молчи.

Когда поезд уехал, я просто сел на какую-то желе-

зьяку. Есть такие на перронах, непонятного назначения. Достал из кармана оставшиеся полбутылки водки. И пил ее как воду. Охуеть, история?

– Охуеть. А... Ты что, ее больше не видел?

– В том-то и дело. Никогда не видел. Письмо она прислала через несколько месяцев – о сексе ни слова. Привет, как живешь, все такое. Ответить хотел, да... Да как-то все... жизнь-то идет. То одно, то другое... Давай по маленькой!

– Давай...

Стая Одинокого Ветра-7

*Но если вы говорите нам,
наши боги теперь мертвы,
пусть мы теперь умрем,
пусть мы теперь погибнем,
ибо теперь наши боги мертвы...*

*Науатльские мудрецы – испанским
миссионерам, 1524 г.*

Я проснулся от шума. Во дворе разворачивалась машина. Здесь? Ночью? Тут и днем-то они редко бывают. Не понравилось мне это. И правильно не понравилось.

...На пороге стояла... Светка.

– Ты здоровый? – Я еще ее терпеть не мог и потому, что она сроду не здоровалась. Поебать – кто ты. Ни здарсьте, ни до свидания. Чума.

– В каком смысле?

– Васька в реанимации. Кровь нужна... Сегодня пил?

У меня рухнуло вниз сердце.

– Да нет. А что случилось?

– Под машину попал, пьяный. Блядь, говорила я вам, допьетесь, скоты!

– Группа у него какая?

– А у тебя какая?

– Третья.

- А резус не ебанутый у тебя?
 - Да нормальный у меня резус! Положительный.
- Ну, чума!
- Пойдет. Быстро в машину!

...В машине Светка на ходу потрошила свой роскошный кожаный органайзер, выискивая адреса и телефоны. Шофер напряженно молчал, не отрывая глаз от дороги. Несколько раз мы останавливались, она высказывала, матерясь и скрипя зубами, и исчезала в дверях домов. Чаще она возвращалась ни с чем. Но еще пару доноров эта вампирша вбила в машину пинками. С тех пор я уважаю ее. Чума.

Кровь моя напрямую не подошла. Но для плазмы или там еще чего годилась. Вообще, на плазму берут днем – это не срочно. Но Светка сказала, что лично отхуярит каждого по отдельности, если с меня сейчас не сольют столько крови, сколько я смогу выдержать. Никто не решился ничего сказать. Чума не принимала никаких возражений. Она просто приказывала. Когда я вышел в коридор, придерживая правой рукой левую, Светка стояла у мраморной колонны и зло плакала – молча и мощно. Ни одного звука – только скрип зубов. Увидев меня, она вытерла платком свое породистое лицо и подошла ко мне.

- Голова не кружится?

Я не верил своим ушам. Тон был очень даже дружеский. И без матов.

– Да нет. Расскажи, что случилось-то?

– Он вышел из общежития. Кстати, я еще эту суку...

– Да ладно, ты о нем...

– А что о нем? Пошел за очередным пузырем, там, ты помнишь, можно вокруг обойти, а можно на горку подняться. Он поднялся. И заскользил вниз. Влетел прямо под «девятку». Никто не виноват. Кроме него, дурака. Перелом таза, ребер, черепно-мозговая. Вылечу – убью.

Последняя фраза поразила даже ее саму. Она засмеялась. И я вдруг увидел перед собой женщину изумительной, нечеловеческой красоты... и понял – почему Вася на ней женился. Для меня это всегда было неразрешимой загадкой. – Сейчас, подожди меня. Я схожу спрошу – что там у него. Доживет до утра или нет... – она сунула мне свою сумку.

– Подержи пока. И иди в машину...

...Измученный шофер спал, запрокинув голову и широко открыв рот. В полуоткрытых его глазах светились белки. Он вздрогнул от моего стука по стеклу окна и вцепился в баранку, как лемур. Потом, посмотрев на меня краем глаза, облегченно выдохнул.

– Я уж думал – она.

– А что, страшно? – спросил я, захлопнув дверь.

– Не говори. Ты ее вечером не видел. А я видел.

– Ты давно у нее работаешь? – спросил я.

– Вообще, в ихней фирме уже полгода. А ее я месяц

вожу.

– Уходить не собираешься?

– Нет, – с непонятной гордостью сказал шофер, – не собираюсь.

Дверь открылась и в машину полезла Светка.

– Доживет, – успокоено сказала она. – Пусть, блядь, попробует не дожить! Хоронить буду лично!

– Ну ты уж... совсем озверела, – сказал я, полный иронии.

– Ну-ка, там, возле тебя, сумка. Дай-ка ее сюда. – Светка сняла шапку и взъерошила себе волосы двумя руками. На приборной панели горели часики с иероглифами и цифрами. «4:10 AM». Светка щелкнула по ним холеным ногтем.

– Ни хрена себе. Спать-то я буду сегодня, нет? Алексей, где наша фанерка? Порежь-ка...

Я подал ей тяжелую кожаную сумку, в которой что-то перекатывалось и звякало. Светка перехватила ее, поставила к себе на колени и стала там рыться. Достала батон, колбасу, кусок сыра. Для шофера это было, видать, уже в порядке вещей и он вытащил откуда-то небольшой кусок ламинированной фанеры. Стал резать все крупными кусками, покачивая головой от недосыпания.

– Водки у меня нет, красного вина тоже, кровь мы тебе коньяком восстановим... Не против?

– Нет, не против. – Я принял от нее мельхиоровый

стаканчик с коричневой жидкостью. – А ты, Света?

– Ну и я... А то свалюсь сейчас. Пей быстрее – стакан второй не могу найти, укатился куда-то.

Мы выпили по очереди два раза. Светка рвала бутерброды не хуже Карата, видно было, что давно не ела. Алексей тоже умял пару бутеров и выпил минералки. За окном было муторно, летел снег. Поземка тащила по сугробу мятый полиэтиленовый пакет. Мы сидели, как космонавты, такие одинокие – каждый сам по себе – и нужные, и ненужные одновременно. В такое время пить очень странно. Организм мой вежливо постучался изнутри, не услышал ответа, пожал плечами и уложил коньяк куда надо. А поспать нельзя, спросил он? Пока нет, ответил я. А когда будет можно, спросил он. Ночью, сказал я. А, пардон, сейчас что, спросил организм. А сейчас я с дамой. А, решил организм, секс то есть. С дамой, назидательно сказал я, это не всегда секс. Ни хуя себе, сказал организм, тогда давай еще бутер. Это можно, сказал я.

– Я, Алкаш, Ваську на свадьбе какой-то увидела. Глаза у него темные, смотрят ласково, и улыбаются. Увидел меня – танцевать пригласил. А я злая, неприступная такая. По жизни, понимаешь. Ко мне мужики всегда липли. А я же умная. Я же сильная. Единственный ребенок в семье. Какой я еще могла быть? Васька тогда второй раз женат был. И ребенок у него. Как так получилось? Танцуем с ним, а он смотрит мне в

глаза и улыбается. Потом спрашивает – ты всегда такая хмурая. Я говорю – нет, я еще какая веселая. И тут – драка. Чего там будущие родственники не поделили – не знаю. Ничего понять невозможно. Бьют кого-то, и достается вдруг мне. Я чью-то морду режу вдоль и поперек маникюром, а Васька сходу крошит всех подряд, выдирает меня из толпы и уносит на руках. На глазах у жены. А массовик музыку не остановил. Умница. Веселый массовик был. Но, слава богу, улеглось там все. Жены, дамы на руках у кавалеров повисли, мировую распили, дрались уже потом только на улице. Прогресс. А Васька отнес меня в коридор и начал целовать. Режу и его вдоль и поперек. Я, Алкаш, 85 килограмм вешу. Я и без ногтей могу. Тут жена его появляется в дверях. У этой еще хлеще маникюр. Вообще расписала его под хохлому. Короче, ухажу я с этой свадьбы куда глаза глядят.

Я вдруг вспомнил: «А Ленка была здоровая, как лошадь»... И привиделся мне смысл...

– Четыре ногтя сломала. Хотя, ты этого не поймешь... не мужского это ума дело. Сижу два дня дома, синяк зализываю. Злая как кобра. Заявляется. На лице – крестики-нолики. Как узнал, где живу? Белые розы, шампанское. Спрашиваю – а жена? Ничего, говорит, здорова... Я говорю, сейчас тебя убью, я тебя не об этом спрашиваю. Танцевать, Алкаш, это одно, а при живой жене к другой женщине с белыми розами прихо-

дить – это совсем другое. Мне, Алкаш, эти сопли Санта-Барбаровские ни к чему. Либо ты со мной, либо ты с ней. Либо я тебя на части, на фашистский знак и на хуй с пятого этажа. Адюльтер он мне тут пихает. В общем, цветами по той же роже еще раз. Розы – не гладиолусы. Там шипы вмонтированы. Для таких случаев специально. Да вы что, говорит Вася, охуели? Да я в той драке столько повреждений не получил, сколько от любимых женщин. От каких, говорю? И остатками букета еще добавила... Давай-ка я тебе еще налью, Алкаш. Держи. И себе тоже. – она выпила стаканчик, не закусывая. —И тут он смеяться начал. Стоит и ржет, как конь. Морда – как семипалатинский полигон – живого места нет. И кровь капает. В, общем, пошла за ватой. Оттерла его и выперла. Месяц его не было. А я в гору в это время шла. Карьера, то, се. И заявляется он через месяц в мой кабинет уже без цветов. Под вечер. Я, говорит, пришел на тебе жениться... Я гляжу – под руками ничего такого нет. Одна канцелярия. А сама про него весь месяц думала. Потому и в гору пошла. 24 часа в работе. Спала в кресле. Чтобы не лез мне в мозги своими розами. Хватаю пепельницу. И ставлю ее на стол опять. Ну сил не было – устала. Садись, говорю, сволочь. Закуривай. Слушаю... Дура, согласна. Но как хочется, Алкаш, иногда быть дурой!!!! Все, Алексей, поехали... На базу, Алкаша отвезем и назад.

...Когда я подходил уже к бараку, передняя дверь ма-

шины открылась и Светка весело крикнула:

– Эй, Алкаш, знаешь, почему у нас с ним детей не было?

– Почему?

– Потому что еще будут! Бывай! – и они уехали. Светка сама не заметила. Она первый раз в жизни попрощалась со мной по-человечески. «Бывай»... Чума.

Я не стал сразу заходить. Я выпустил из тамбура Карата, вытащил из кармана сигарету и стал смотреть на звезды. Карат соскучился и все прыгал вокруг меня.

– Пошли-ка в лес.

...В лесу, продравшись сквозь все нарастающие сугробы, я смахнул со своего любимого пенька снег, сел и закурил. Карат полазил немного по окрестным сугробам и прибежал обратно. Было тихо. Я не был пьян. Я не засыпал. Я все время думал – как там Вася. Но все равно вспомнил: «Напиши мне письмо, Одинокий Ветер»...

...Есть такой вид японского искусства – напыление рисунков порошками разного цвета. Картина живет несколько минут. А создаваться она может часами. Когда я узнал об этом, сначала подумал – сколько же шедевров ушли безвозвратно. А потом вспомнил, что образы в наших сердцах живут вечно. И гораздо важнее впечатление от рисунка, чем сам рисунок. Абсолютно не важно, что срезанный цветок увядает. Умирая, он рождает воспоминания. Образ цветка пережи-

вает сам цветок в тысячи раз. Порошковая картина. Короткий праздник.

Я создаю подобные вещи. Я создаю дни, часы, взгляды, слова, ночи, ощущения, сезоны, периоды жизни. Я бесконечно богат ими. Я сочиняю свою и чужие жизни и если мне это удается – я счастлив. Я долго учился. Я сломался на этом.

Я – не каменный. Меняется мир – меняюсь и я. Это – как полет над водопадом. Бесконечный риск и бесконечное блаженство. Я легко и с удовольствием расту и разрушаюсь. Я легко и с удовольствием беру в свой полет других людей. Тех, кого приносит ко мне мутная река судьбы. Так появилась ТЫ. Может быть, ты – мое лучшее творение. Может быть, я – твое лучшее творение. За то время, пока я тебя знаю, мы оба изменились. Мы создали изящный, плывущий, объемный рисунок. Мы создали песню внутри нас. Мы создали праздник.

Похвали меня за это, если считаешь нужным.

Имя твое – мягкое, шелковистое слово, оно теплое, как шепот, как дыхание. «А я его оттаивал и дышал на него, я в него вслушивался и не знал я сладу с ним». Так говорил, умирая, Павел Васильев, святой и грешник. Теперь он вечен, как та картина из мелко растертого порошка, а попросту – пыли. Быть – минуту, жить – вечно, так ли уж это трудно? Создай свой мир и потряси его.

И еще я хочу сказать тебе. Если ты хочешь подойти

ко мне, а препятствие живет только внутри тебя самой — есть только одно средство. Не надо рыть колодец — вода рядом. Если я кажусь далеким — это я только кажусь таким. Это древняя привычка, дурацкая моя привычка жить не исполнением желания, а самим желанием. И я все-все вижу. И я все-все чувствую. И я все-все хочу. Не надо оставлять все на последнюю минуту. Она может не наступить. Иногда, когда я рядом с тобой, во мне просто туман от нежности к тебе. А когда я вижу твои глаза, которые говорят больше, чем ты, наверное, предполагаешь, то я понимаю, что между нами — только мы. Барьер из цветного порошка, давно проглоченный ветром. Вся эта жизнь, со всеми ее благами не стоит ни гроша, но если есть Грустная Лиса и есть Одинокий Ветер, то она стоит смерти.

Похвали меня за это, если считаешь нужным...

...Издавека, вытягивая душу, маня, чаруя, извергая тоску миллиарда лет слышался сначала один только мелодичный вой. Он не умолкал долго, переливаясь, как ртуть, колеблясь в морозном воздухе, дробясь на созвездья. Потом на него наложился другой, более высокий. Потом третий, хрипловатый, с кровавыми нотками. Потом еще и еще один. Потом голоса слились в одну чудовищную симфонию под огромной луной. В этом бесконечном вое жили голоса расстрелянных, отравленных, утопленных, зарезанных, сожженных заживо и съеденных людьми собак. В этой музыке, вы-

зывающей ужас и восхищение, я услышал нежность и теплоту крови, струящейся из горла на снег. Я увидел облака, состоящие из одних четвероногих призраков. Я почувствовал голодное дыхание на своей шее. Я прикоснулся к сердцу Анубиса... Хор звучал так, что разбудил, наверное, весь городок. Потом, издалека, из места, где живут люди, какой-то одинокий пес ответил стальным, дрожащим воем. Потом яростно завыли еще несколько городских собак, еще, еще и еще. Голос смерти множился с каждым мгновением. Он вырос, как снежный ком. В этой песню включился Карат, запрокидывая назад светящуюся голову, Грей, которого я услышал и с трудом узнал его голос. Все жившие когда-то, все мертвые, все нерожденные, все будущие собаки грядущего мира пели, исторгая из себя древнюю смесь любви и ненависти к человеку. Вой невероятной, чудовищной силы прекратился так же неожиданно, как и начался. Только звенящая тишина осталась в воздухе. И растаяли в нем несколько далеких, испуганных выстрелов – жалких и торопливых...

Я сидел, оглушенный этой музыкой. Я смотрел на Карата совсем другими глазами. Когда он перестал светиться – я протянул к нему руку. И почувствовал холодный нос.

«Скажи мне – кто вы?»

«Вы не поймете... вы просто люди. Вы не поймете. Мы любим и ненавидим вас».

«Вы – наше проклятие...»

«Вы – наше проклятие...»

«Мы всегда будем вместе...»

«Мы всегда будем вместе...»

«Пока не погаснет солнце...»

«Пока не погаснет солнце...»

«Смерти нет...»

«Смерти нет...»

«Я слышал это сейчас...»

«Ты слышал это сейчас...»

Стая Одинокого Ветра-8

*В секунде оргазма сосредоточен весь мир
Генри Миллер. «Тропик Рака»*

Я сидел под землей. Не так уж, чтоб глубоко... Третий нижний, или как у них тут называют – В. В библиотеке есть первый, нулевой, А и В. Ну, и само собой – второй и третий. Меньше нельзя. Кладезь мудрости. Пыль веков. У меня тут знакомая. В читальном зале тоже можно работать, но там нельзя курить. Собственно, курить нельзя и здесь, но это служебное помещение, где сидит только эта моя знакомая, и которая тоже, по счастливой случайности, курит. Вентиляция здесь – мощная. Приток, вытяжка, все как положено. Библиотека, поди. Уносит дым – как не было. Я листал журналы по зоопсихологии. Книги по оккультизму. Старым, давно отжившим религиям. Я искал СОБАК. В первый день, как умная Маша, я перерыл каталоги по собаководству. С таким же удовольствием я мог рыть каталоги по кролиководству. Результат тот же. Хотя... можно было уже ставить какие-то таблички типа «Туда». Первый вывод меня озадачил. Собак резали, кормили, поили, вскрывали, дрессировали, испытывали на износ. Но почти никто не интересовался СТАЯМИ. Стай, по логике большинства авторов, не было в природе. Не-

которые, более продвинутые, отсылали к волчьим ста-
ям, как к близким аналогам. При этом намекая, что со-
баки, если в физиологии – практически одно и то же, то
в социальном плане – феномен. Ну и, плюс, загадка
их происхождения. Откуда они – не знал никто. Пред-
ка домашней собаки как не было, так и нет. Такие вот
пирогги. То есть, если вам нравится в качестве предка
волк – берите волка. Не хотите волка – берите шака-
ла. Или их обоих, как Лоренц. Или, как старик Келлер
– аж 6 предков. Или, как Штудер – *Canis ferus*, то есть
виртуальная собака. Гипотетическая. И отъебитесь от
ученых.

Я отъебался. Я сам ученый. Не помогает логика –
берем мистику. И я по уши зарылся в черные книги. Да,
кое-что я все-таки понял из происхождения собак. Это
звучит примерно так. КОГДА ЧЕЛОВЕК ОЩУТИЛ СЕ-
БЯ ЧЕЛОВЕКОМ – СОБАКА РЯДОМ С НИМ УЖЕ БЫ-
ЛА. Первородное животное. Вечный спутник. Четверо-
ногая любовь. Она была дана Богом для слабого суще-
ства, обреченного на вымирание. Не поэтому ли мрач-
ный Анубис носит голову пса? Я отнес его изображе-
ние на ксерокс. Увеличил. И положил в свою папку. Это
был первый лист в этой папке. Из многих. Меня спра-
шивают на работе – ты куда? В библиотеку. А, ну надо,
надо, давай. Библиотека в нашем институте – царство
мертвых душ. Аид. Где Николай Егорович? В библио-
теке. А, ну надо, надо. А Лидия Алексеевна? Там же. А,

ну надо, надо. А этот Николай Егорович вместе с Лидией Алексеевной у него на квартире трахаются. Или он пилит доски на даче, а она в парикмахерской. А, ну надо, надо. Пройдешь по институту – половина в библиотеке. В библиотеку пойдешь – вообще никого. Вот поэтому я, когда не пью, и люблю тут рыться. Из знакомых своих только Федора и встречаю. Остальные – фантомы, призраки. Я ж говорю – Аид. И никого здесь не интересует, зачем агроному эти книги. Что, в принципе, и есть – свобода мысли. Ну, в каком-то аспекте. Не абсолютном.

– Катя, давай покурим?

– Давай...

Катя – жена крупного ученого. Он старше ее на 20 лет. Звания там, степени и прочее. Дача в «барсучьем» месте, две машины, квартира со стадионным метражом. Спрашиваю – на кой тебе эта библиотека.

– Я, Алкаш, здесь работала, когда мы с ним познакомились. Платят тут копейки. Но это – моя жизнь. Я тут зарабатываю на свои собственные сигареты. Чужих мне не надо.

Она – классная машинистка. Ляпает 500 знаков в минуту без ошибок. Берет дорого. И не сидит без работы. А библиотека – так... место где стоит машинка.

Я полез опять в книги. Листал страницы. Я шел по улицам древнего Кинополиса. Я стоял перед статуей Ахура Мазда. Мою смерть предсказывал Нахуа Ксо-

лотль. Тоже, блядь, имечко. Я ничего не нашел. Пусто. Кто ты – собака? Отнес на ксерокс Лотреамона и пошел в больницу к Васе.

...Пустить меня не пустили – кто я такой? Светку – и ту через раз пускают. Но узнал, что хотел. Пока без сознания. Но все работает. Сердце, дыхание. Аппараты все отключили уже. Сам дышит. Жив, курилка. Ни хуя, выкарабкается. Позвонил Ирке на работу, хотя она уже и так знала о Васе все. Ничего, пусть еще узнает. Бойтса – спрашивает, вдруг Светка его к себе заберет. Я-то знал, что заберет. Но ей сказал – не знаю. Не знаю, Ира. Не лишай ближнего надежды. Наври ему с три короба. Смотри ему в душу честными глазами. Но не лишай надежды. Вдруг все будет по-другому. Бог простит. А большего – не надо.

Я пошел к Лисе, взял ее под мышку и отнес к себе в барак. А большего – не надо... Такие вот пироги.

...Когда Грустная Лиса начинает кончать... Во, фраза, да? «Начинает кончать»! Обалдеть можно. Так вот, когда она начинает кончать, она мелко дрожит всем телом. А потом дрожит так крупно, что меня качает, как в океане во время качки. А потом замирает и растекается по моему «ложу», как вишневый крем. И не отпускает меня, прижав к себе, как булку хлеба в блокаду. Она ж выше меня. На четыре сантиметра. Не маленькая. Я ее зову в постели – «Моя большая». И она исчезает в моих руках, становясь светящейся горошинкой. В

тех сегодняшних книгах я видел фотографию – статуи фараона и его жены. Он – метров 20 высотой. Она – ему по колени. Стоят рядом. Такие вот масштабы. Иллюстрация оргазма во всей своей красе. А вы думали – потому что он такой великий? Ни хуя. Потому что он такой ласковый...

Она начала еле заметно подрагивать, а я остановился. Я не так уж устал. Я лежал на ней, между ее ног, чувствовал ее начинающуюся дрожь и заставил себя замереть. Лиса открыла глаза, я лизнул ей нос, как собака, и сказал:

– погоди, Лиса, не взрывайся.

Я погрузился в ее рот своим сверкающим языком и встретил ее язык – трепещущий, как отторженный хвост ящерицы. Две горячих змеи сплетались, чтобы силой страсти создать то, что человек создает силой разума – морской узел. Я взял ее ладони своими руками и развел их в стороны. Морская звезда, выброшенная на берег прибоем. Символ, древний, как мир. Летели сверху и падали на нас искры с небес, шипели и трещали в лужице пота на моей пояснице. Член стоял, как дурак на паперти. Я умирал от невыносимого желания исторгнуть из себя жемчуг. Но я замер. И желание перестало быть невыносимым. Организм орал внутри меня что-то на языке динозавров. Или даже просто орал. Дурниной. Когда дрожь Лисы спряталась, я снова начал двигаться, и Лиса снова начала дрожать. И

снова я остановился. Лиса начала кусать мой язык. На третий раз я не выдержал. И Лиса, выгибая спину бесконечной лисьей своей, стальной, вибрирующей дугой, задрожала так, что я на какой-то миг потерял зрение. В черном, горячем и пульсирующем пространстве я увидел рушащиеся стены древнего Кинополиса, взлетающие тени крылатых собак, созвездия с собачьими именами и вылетающий из меня жемчуг. Дрожь Грустной Лисы сделала меня могущественным и вечным. Я вбирал в себя эту дрожь, как вампир. Я выпитывал ее, как губка. Потом Лиса освободила ладони, обняла меня и застыла. Дыхание спринтеров превратилось в дыхание стайеров. И долго-долго еще проходила по нашим телам затихающая волна.

– Он выскочил. Такой нехороший. – сказал Лиса.

– Он погулять. Он вернется. – сказал я.

Организм внутри меня изучил, наконец, по-быстренькому, русский язык и завозмущался. Я, это, жрать хочу, сказал он. Подождешь, сказал я. А долго ждать, спросил организм. Долго, сказал я. Идите вы на хуй, сказал организм, или ты сейчас жрешь или у тебя сейчас не встанет. Пять минут можешь подождать, спросил я. Пять, спросил организм, пять могу. А что будем жрать, поинтересовался организм. Бутерброды с колбасой, сказал я. А молочка, спросил организм. И молочка, сказал я. А водку в меня сейчас не пихай, добавил организм. Хорошо, сказал я, не буду. Организм

благодарно и с настороженностью врубил все свои секундомеры.

– Давай лопать, – сказал я Лисе.

– Устал? – спросила она, ощутив на моей спине влагу. Она шлепнула меня по пояснице.

– Ага. И есть хочу. Давай лопать?

– Давай, давай. Там у меня, кстати, в сумке – шоколадка. Большая такая. Подарили.

– И какой же это сукин сын дарит шоколадки моей Грустной Лисе? – спросил я.

Вместо ответа она чмокнула меня.

– Будешь ревновать – уйду. Дурак.

– Дурак, – согласился я.

Я встал и пошел к вешалке за сумкой. Снял ее и принес Лисе. Потом пошел на «кухню», нарезал хлеб, колбасу, открыл пакет с молоком и притащил это все на тумбочку. Лиса все это время смотрела на меня. Потом засмеялась.

– Он у тебя болтается, когда ты идешь. А вам он ходить не мешает?

– Кому это нам? Полубогам?

– Мужикам. Не мешает?

– Ходить – нет. Вот сидеть иногда мешает. Попадет там куда-нибудь в складку или встанет не вовремя.

– И часто он так – не вовремя?

– Да каждый день!

– Иди ко мне...

– Да я и так здесь.

– Нет. Иди ко мне. Мне без тебя холодно.

И я залез под одеяло, встреченный руками, ногами, губами и всем остальным. Организм завопил уже совсем неприлично. Он призывал на помощь все инфекции мира. Все полиции нравов. Всех моих собутыльников. Он матерился на всех языках мира, включая динозаврский. И он победил.

...Мы пили молоко по очереди. Лиса взяла свою подушку и подсунула ее мне под спину.

– Тебе неудобно. И облился весь. – Она слизала с моего живота капли молока. Потом обняла меня и затихла, вода по моей груди своим великолепным серебристым ногтем. Рыжие волосы рассыпались вокруг солнечным пятном.

– У тебя шрам под пупком. Длинный такой. Это что?

– Это грыжа. Бывшая, в смысле.

– Надорвался?

– Нет, обычная пупочная грыжа. У многих бывает. Иногда так и живут с ней, не зная. Я тоже не знал. На медкомиссии обнаружилась.

– А вот еще шрам. Маленький.

– Это я не помню. В детстве, наверное.

Она поцеловала шрамик и попросила: —Напиши мне письмо, Одинокий Ветер.

Я помню как рушилось серебро небес на землю, ставшую моей постелью. Беззвучно летели вниз ан-

гелы с обломанными крыльями, теряя нимбы свои в жестких ветвях деревьев. Бились о землю млечные звезды, умирая в тусклых блестках миллионов искр. Горько шумела листва, роняя не улетевшие вверх молитвы, тяжелые и грешные. Я помню как стеной вставал снег, отнимая у живых последние капли тепла, как выла метель, проникая сквозь кожу и кости до самого сердца. И клубились снежинки и не могли упасть – земля исчезала, исчезало вечное притяжение. Люди летели как птицы и как птицы теряли перья и как птицы разбивались. Я помню как вздыхала бездна воды под человеческими телами, как жадно она хотела растворить их, и некоторые погружались глубоко, до самого космоса, чтобы стать его частью. Душа воды – в ее глубине, там, где перестает светить солнце, там, где вечный холод и мрак. Я слышал мелодию глубины. Я помню как поцеловала меня женщина с рыжими звездами в глазах и я ушел в ночь и растворился в ней и брожу в ночи до сих пор. Что нужно еще Одинокому Ветру? Да будет путь его вечным...

– Ты – Одинокий Ветер. Я – Грустная Лиса. Как индейцы... Грустно.

– Почему?

– Не знаю. Грустно и все. Словно мы из какого-то вымершего племени. Последние из могикан.

– Мы – первые, Лиса. Знаешь, какие у нас будут дети?

- Какие?
- С глазами цвета осени. С моим сердцем. Твоей душой. Поющие на всех языках мира.
- Даже на собачьем?
- Даже на собачьем. «Счастлив тем, что целовал я женщин...»
- »Мял цветы...»
- »Валялся на траве...»
- »И зверей, как братьев наших меньших...»
- »НИКОГДА...»
- »Не бил по голове...», – закончила она тихо-тихо. Зазвонил телефон. Звонила Светка. Чума.
- Это ты, Алкаш? У вас тут телефонов на одном провайдере до хрена и больше.
- Я... Что-то с Васькой?
- Очнулся, сволочь. Бегу туда. Сейчас я ему устрою.
- Ты с ума сошла?
- Да шучу я, Алкаш, шучу. – весело крикнула в трубку Чума. – это я от радости. Все, бывай.
- «Бывай»... Вот же... инфекция. Я встал на пол и потянулся. В окно лезла умирающая Луна. Слышался радостный лай Карата и Грея, гоняющих котов или еще кого.
- Что там, Ветер?
- Жизнь, Лиса. У Светки тоже будут поющие дети. Она это заслужила. Васька очнулся.
- А Ирка?

- И у Ирки будут. Чем она-то хуже?
- Страшно. Убьет она ее.
- Не убьет... Она – умная.
- Иди ко мне... Мне холодно...

И провалился я в теплоту и мягкость женского тела. Организм был не против. Он тоже умный, мой организм. Наивный только...

...Лиса спала, посапывая носиком. Я осторожно снял с себя ее руку и выскользнул из-под нее. Как змея. Как угорь. Как ленточный, блядь, глист. И тихо пошел в «кабинет». Там я сел на табурет перед письменным столом и закурил. Взял свою папку, развязал тесемки и стал рассматривать один лист за другим. Портрет Анубиса приколот кнопкой на стену слева. Анубис смотрел вбок, но ощущение прямого взгляда было очень ярким. Собачья голова с острыми чуткими ушами была полна мудрости и презрения к смертным. За его спиной древнеегипетская бригада потрошила очередного покойничка... Я достал из папки последнюю сегодняшнюю находку – два перевода Лотреамоновских «Песен Мальдорора». Ни пса не владея французским, я все пытался понять, как должно было это звучать на родном языке. Сказать, что переводы были плохие, я не мог. Но одни и те же куски воспринимались по-разному. Не то, чтобы совсем отлично, но по-разному.

«Когда услышишь, лежа в постели, лай псов поблизости, накройся поплотнее одеялом и не смейся над их

безумьем, ибо ими владеет неизбывная тоска по вечности, тоска, которою томимы все: и ты, и я, и все унылые и худосочные жители земли. Но это зрелище возвышает душу, и я позволяю тебе смотреть на него из окна».

Музыка следующего перевода звучала совсем по-другому:

«Когда ты лежишь в своей кровати и слышишь лай собак в далеких полях, спрячься под одеяло и не пытайся представить себе, что там происходит. Они одержимы ненасытной жаждой бесконечности, как ты, как я, как все смертные с бледными и удлинёнными лицами. А впрочем, подойди к окну и понаблюдай за этим спектаклем, в нем есть особая утонченность».

«Особая утонченность...». Я не знаю, кто из переводчиков прокололся, но я заметил одну странность. Первый говорил о собачьей тоске по вечности... Второй – по бесконечности. Возможно, для философии сюрреализма это одно и то же. А может и нет. Переставить бы слово «вечность» из первого перевода во второй! Но кто знает – где правда... Я долго читал плохо скопированные тексты. Потом бросил их на стол и опять закурил... Одна фраза не давала мне покоя еще в библиотеке:

«Мне сказали, что я – сын мужчины и женщины. Это довольно странно... Я думал, что я нечто большее!». «Нечто большее...» Скорее, нечто другое... Лотреа-

мон не захотел быть сыном мужчины и женщины. Сюр, хули. Я выдыхал дым, который устремлялся к потолку и там странно извивался, не растворяясь в воздухе. «Ненасытная жажда вечности...» Я бы сказал так. Тоска по вечности – это убивает. А вот жажда – это начало эрекции. Совсем другой смысл. Бьющееся сквозь штаны сердце. Закипающая на языке слюна. Интересно, светится ли в Лисе горошина новой жизни? Пойду, посмотрю.

Я вернулся на «ложе». Лиса свернулась калачом, как уставший питон. Она потеряла меня во сне, и инстинктивно сама защитила себя и свой живот. Живот, в котором жили голоса поющих детей. «Даже на собачьем»... «Даже на собачьем»... Я залез к ней под одеяло и она проснулась. Нос ее дернулся.

– Курил? Я тоже хочу... Дай мне сигарету... на тумбочке. И зажигалку.

Она лежала у меня на руке и курила, стряхивая пепел на пол со своей стороны. Второй своей рукой я гладил ее по животу. Она нащупала мои пальцы под одеялом и сжала мою руку.

– Сегодня – нет, Ветер. Но это ничего не меняет. Я их уже слышу. А ты?

– Я их слышал всегда...

Стая Одинокого Ветра-9

Вечерами, закончив свои дела, псы будут сидеть и говорить о человеке. Мешая быль и небылицы, будут рассказывать древние предания, и человек превратится в бога.

*Лучше уж так. Ведь боги непогрешимы.
Клиффорд Саймак. «Город»*

Васька потерял память. Амнезия. Он не помнил ничего из последних, наверное, лет пяти – семи. Точнее сказать трудно, поскольку и прошлое-то у него в голове было сложено как попало. Он помнил как его зовут. Он помнил, что учился в институте. Помнил своих маму, папу, тетку и брата. Но он не помнил ни Светки, ни Ирки, ни меня, ни Митрича, ни первую, ни вторую жену. И брат в его голове был какой-то доментовский. Он оказался вне этого мира. Через полтора месяца Светка забрала его из больницы. Вообще, ему бы еще лежать и лежать. Но Светка настояла, сделала в квартире все, что надо было для лечения, и увезла его. Перед этим она сходила к Ирке. Взяла у нее все его вещи. Пожала ей руку. Рассказала все. И ушла. Чума.

Я пришел к нему, когда уже рассвело. Светка впустила меня и пнула под ноги тапочки.

– Обувай. И надевай.

Она протянула снежно-белый халат. Я вылез из куртки и влез в белое облако. У Чумы теперь все стерильно. Прошел в комнату. В комнате было тихо и светло. Дорогие тяжелые шторы были раздвинуты, а на кровати, залитый солнечным светом лежал Вася. На почти плоской – так сказали в больнице – подушке лежала его голова. Хуй знает, что имел в виду специалист по этим амнезиям. Может то, что голова должна лежать горизонтально, а может что она должна чувствовать то, на чем лежит. Неизвестно. Рядом с кроватью на столе стояла хуева туча лекарств во всех возможных упаковках. У Васи, оказывается, были карие глаза. Никогда не замечал. Сейчас они смотрели вверх. Лицо не было повреждено, но было бледным и отчужденным.

– Привет, Вася. Я – Алкаш.

– Очень приятно... – прозвучал глуховатый чужой голос и одного этого было достаточно, чтобы выпасть в нерастворимый осадок. Я понял – он меня не знает. Видимо, Светка, приводила не одного, не двух, но все безуспешно. И Вася научился быть вежливым. Что ему оставалось делать? Он инстинктивно выбрал способ защиты. Такие вот пироги.

Я сидел на стуле, смотрел на него, говорил что-то. Светка стояла напротив, за его головой. Она слушала. Перед этим она просила меня говорить обо всем, но не спрашивать его, типа – «помнишь?». Я рассказал о том, что Митрич в завязке, что Федор купил мебель,

что Новый Год на носу и что скоро его брательник станет еще на одну звезду тупее. Посмотрев на Светку, я сказал, что Ирка уже не живет в общежитии, а получила комнату. Ничего. Он кивал головой, односложно отвечал – «да», «нет» и было ему неуютно. Мне стало плохо. Я опять посмотрел на Светку. Она щелкнула по горлу пальцем. Я кивнул.

– Может, выпьем? – спросил я.

– Вина, что ли?

Васька никогда не пил вина. Как он говорил – только для дам. Я не мог ничего сделать. В глубине его мозга мне не было места.

– Ладно, Вася, в другой раз. Света пока не разрешает.

Я опять посмотрел на Светку. Она медленно кивнула. Без слов. Только породистые челюсти играли под кожей.

– Я еще забегу, Вася.

– Забегай.

Без эмоций. Можешь забегать. А можешь и не забегать. Ни к чему. Лучше б он был без сознания. Господи, прости мою душу грешную...

...Мы бежали с моими собаками в растущих сумерках. С некоторого времени я стал бегать и по вечерам. Карат и Грей уже знали все мое расписание. Утром – до света. По темноте. И вечером – в сумерки. Они мчались, по сугробам, взметая снежную пыль. Такое сло-

жилось у нас правило. Человек бежит по тропинке – он слаб. Собака бежит по снегу – она сильная. И человек иногда обгоняет. Очень редко, но обгоняет. И тогда рвутся вперед две живые пружины – серо-черная и черно-белая. И вырывают опять победу. Весело. И нелегко. Всем нелегко. Я еще вас сделаю, шерстяные. И еще, и еще. Попробуй, двуногий. Попробую. Организм внутри меня стал – как часы. Все знает. Все. Когда вставать, когда ложиться. Когда жрать, что жрать. Когда гадить и чем гадить. И голос его стал другой – зычный. Как у боцмана в бурю. Растем, мать вашу. Растем. Лиса говорит – ты сам стал, как Анубис. Бог смерти. И мажет мне перед бегом правый локоть хитрой восточной мазью – чтобы не ныл. Я сейчас... охуеть можно... готовлюсь стать отцом. Не в смысле, что Лиса беременная. Она сказала – ты слишком долго пил. У тебя длительная интоксикация. У тебя наверняка изменения в аппарате воспроизведения. В аппарате, ни хуя себе. У меня сейчас каждый день там изменения. В сторону увеличения. В общем, чищу себя... Она сказала – несколько месяцев. Лучше – год. Но при моем теперешнем образе жизни – можно полгода... Да все нормально. Только видеть уже не могу эти презервативы... В середине декабря перестал я купаться – замерзала река на глазах. До воды стало идти далеко. И опасно. Морозы. Рухнешь, на хуй, под лед – ищи тебя. Хоть и Анубис. Ничего, до марта потерплю. А голый

по пояс – так и бегаю. Пугаю лыжников. На поляне со мной фотографируются. А что – пусть позорятся. На память детям и внукам. Пусть помнят. Что был такой – Одинокий Ветер. Алкаш-собеседник. С глазами цвета осени. Первый из могикиан. Самый первый.

Я пишу письма Грустной Лисе на бегу. Я погружаюсь в это. Иногда я бегу, не видя дороги, несколько километров. Ничего удивительного. Мой организм делает все за меня. Он умный теперь, аж пиздец. Но наивный, как ребенок. Кого – ребенок... Хуже. Как щенок. Маленький, теплый, мохнатый щенок с глазами-пуговицами. Мы нашли его с собаками в поле. Как он туда попал – непонятно. Ну, не в самом, конечно, поле, на краю. Сдается мне – выкинули его из машины. Породы у него даже близко не наблюдается. Но крупный будет, лапы выдают будущий размер. И жрет... Я так не жру. Жрет и спит, жрет и спит. Во сне лапами дергает. Снится ему лес, полный запахов, мудрые лоси, обглядывающие осину, тазы, полные парного молока, и светящийся вой огромных крылатых стай. Я пишу письма Грустной Лисе на бегу...

... и чтобы было позднее лето, чтобы была глубокая ночь, чтобы дождь шел ровно, не переставая, чтобы было открыто окно и не подоконнике стояло – ни много, ни мало – ведро с цветами. И чтобы были цветы тяжелые, крупные, белые, хризантемные. Или просто так, полевой сброд, выросший как попало и так же срезан-

ный пьяной оттоски рукой. И чтобы дождь не залетал в комнату, а обсыпал подоконник и цветы чтобы все были в свинцовых каплях, густые – еще живые цветы. И сверкала бы временами молния, словно вырезая этот чудовищный букет на фоне окна и гром чтобы звучал громко, но не близко.

А еще рядом с ведром лежали бы крупные яблоки и не красные, а зеленые, кисло-сладкие на вкус и тоже в каплях, холодные и гладкие.

И чтобы не было никаких занавесок, чтобы они не трепетали, отвлекая, чтобы окно было провалом в бездну, в мокроту, в водоворот сверкающих капель, в никуда, в ад.

А там, в этом провале, еле угадываемый – бесконечный лес. Там черные деревья, черная листва, провисшая от тяжести миллионов капель, черная, напившаяся по горло трава.

В такой дождь можно спать вечно, не просыпаться вовсе, пока он не унесет тебя в мировой океан. Таким дождем можно дышать вечно, даже если у тебя нет легких, дышать всем телом, с ужасом осознавая, что тело твое живет само по себе.

А еще – быть таким, каким когда-то родила тебя мама – не свершившим ни одного преступления, не имеющим на душе ни одного греха, голым и праведным и только черный кипарисовый крестик качался бы на груди в такт твоему дыханию, как символ древней, языче-

ской веры.

И сидел бы в ногах громадный сумеречный кот, потерявший дневной облик, весь электрический от грозы, и переливался бы по его спине холодный сиреневый свет, и горели бы его глаза, как две смерти. И смотреть бы на все на это – на окно, на цветы, на яблоки, на неземные глаза кота; и дышать бы этим дождем и так и не узнать бы, что этот дождь – последний в жизни.

...Мы его называли Туман. Из-за шерсти, цвет которой никак не определялся. Что-то среднее. Ну, вот если смешать все собачьи масти, то получится такой цвет. Тумановый. Хорошее слово. Тумановый. Не туманный. Туманный – слишком понятно. И не о том. А у Тумана – тумановая масть. Дым лесного пожара. Намедни Карат с Греем учили его давить котов. Сэнсэи, мать их за ногу... На двоих за всю жизнь один практически добровольно умерший кот. Но Туман их рыбацкие байки принял за чистую монету и долго таял на сидевшего грязным исполином крысиного убийцу. Кот смотрел сверху на щенка... не скажу, что безразлично. Скорее, у него даже был какой-то интерес. Гастрономический. Но сэнсэи сидели внизу и выглядели внушительно. Поэтому кот зевнул и исчез в одной из многочисленных дырок в крыше склада. На мой век крыс хватит, подумал он. Пока, служивые...

Я сижу в библиотеке целыми днями. Я роюсь в книгах. Моя папка уже толстая, как фолиант. Шеф спра-

шивает – материалы готовишь? Молодец, молодец. А то остальные аспиранты дурака валяют... Бильярд, теннис настольный, трали-вали. Давай, давай. Показал бы. Может, подскажу чего? Да вот, через месячишко-другой, Александр Михайлович. Или к сезону ближе. Чего, куда и в каком порядке сеять и все такое. Ну давай, давай. В библиотеку пошел? Ага. Молодец, молодец. В папке лежит сверху дежурный лист. И цветная фотография – поле цветущей травы с красивым названием *Galega Orientalis*. А под ними собаки, собаки, собаки. Психология, структура волчьей стаи, социальная организация бродячих собак. Вырезки, копии, рисунки.

Отдельно – Павлов Иван Петрович. В холодные зимние ночи суки пугают этим именем непослушных щенков. Никто в мире не убил столько собак. Не будет ему покоя никогда. Не смоем он собачьего горя никакими памятниками. Недаром у Анубиса – собачья голова. Отдельно – церковная дискуссия о существовании феномена души у животных. Нет ответа. То есть ответ есть, но в форме аксиомы. Но буддисты утверждают – душа есть у всех. Правда, тоже без доказательств. Но это так, зарядка для ума. Есть душа, нет души... Да посмотри ты в глаза любой собаке! В глаза посмотри, не отводи свои. Что, нет души? Это у тебя нет, ублюдок. Это просто – другая душа. Светлая и чистая. «Любящие нас больше, чем себя»... Чарльз Дарвин. Он убил не так уж много.

Кунин А.С. Командир отряда. Во время Сталинградской битвы отряд подбил 32 танка. Тридцать две живых мины с глазами, полными любви и надежды. Все собаки попадают в рай. А ты, Кунин? А что ты... Ты – один из многих. 300 единиц бронетехники подбито во время войны собаками. Ни одна не вернулась. Служебные, сторожевые, боевые – это понятно. Эти идут на смерть, зная что их любят. Этим предали еще до их смерти... Это еще что... Отказавшиеся идти на смерть за непонятную им Родину – расстреливались на месте. Дважды преданные. Говорят – так было надо...

3 ноября 1957 года через несколько часов после старта погибла Лайка – первая собака-космонавт. Эту тоже предали еще до смерти. Никто и никогда не собирался ее возвращать. Она ушла в небо. Что думала она, умирая от перегрева. Вы когда-нибудь умирали от перегрева? Это только слово такое приличное – «перегрев». Глаза Лайки будут смотреть на нас с неба вечно. Да что Лайка? Барс, Лисичка, Пчелка, Мушка... Их должны были вернуть. Не смогли... Не из-за дикой ли вины перед ними давали им имена, похожие на прозвища любимых женщин?

Я читаю обыкновенную научную статью. Изменения в мышечной ткани после ПРЕДЕЛЬНОЙ физической нагрузки. Графики, картинка, цифры. Фотографии, выводы, список литературы. Срезы мышечной ткани. Так, рядовая статья. Рядовые выводы. Одна собака бежа-

ла 10, вторая 14, третья 52 часа. Ну, пока могут. Пока не упадут. Пока при памяти. Пока не откажет эта самая мышечная ткань. Эти собаки отдохнули уже в раю. Срезы брали еще у живых. Иначе не увидишь изменения. Сколько таких статей...

А это даже не статья. Это просто строчка в книге по психологии. «Собака может прожить без сна от 14 до 77 дней». Леон Уитни. Хороший парень этот Уитни. Надеюсь на это. Он просто привел факт. На семьдесят восьмой день без сна собака может завернуть боты. Сказать, что ей повезло больше, чем той, что склеила лапы на пятнадцатый день – язык у меня не поворачивается. Потому что я не представляю, сколько это – 77 дней без сна. Может быть, это была мечта Сальвадора Дали. Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за полсекунды до пробуждения... Смерть, вызванная бесконечной дорогой к спасительному сну сквозь удары электрического тока. Вот это была бы картина... Но Дали – не сволочь. Не урод, не скотина и не садист. Хорошо ли ты спишь теперь, ублюдок в белом халате?

Нет, не хорошо ты спишь... Тебе снится Анубис. У него желтые глаза. Острые уши. Ледяной нос. В одном из таких снов ты умрешь... В следующей жизни ты очнешься бездомным псом. И будешь мстить за то, что тебя предали... Такова плата.

И прольется кровь человека невинного... И ответят

люди злом на зло... И будешь ты умирать на снегу, разбрызгивая вокруг алую свою жизнь... И подойдет к тебе тень в камуфляже. И вырвет твое сердце... Такова плата. Когда-то собак было больше, чем людей. Потом меньше. Сейчас их – одна на десять человек. Собаки могут убивать нас еще несколько веков. Пока не сравняется счет... Я, Одинокий Ветер, не знаю – где правда... И есть ли она вообще... Такова плата.

– ... Ты не поешь совсем, Ветер. Почему?

– Я, почему-то, не могу пить трезвый, Лиса. Нет того настроения. Знаешь, меня в институте специально поили для этого. Пьяное сердце – честное сердце. Пить надо честно. Как бежишь, как плаваешь в проруби, как любишь Грустную Лису, как просыпаешься... Может я научусь еще пить трезвым, а?

– Может... Но если не научишься – я тебя сама напою. Ну, на день. На два.

– Можно на три?

– Залупу. Сказала – на два.

– У меня глюки? Ты сказала – «залупу»? Или мы уже там, где все можно?

– Где это все можно?

– На том свете...

– Ну и дурак же ты, Ветер, аж есть противно. Иди ко мне.

– Я и так здесь.

– Нет. Иди ко мне. Мне без тебя холодно...

Такие вот пироги. С презервативами. Великое и смешное изобретение француза Кондома. Дай Бог ему здоровья даже там, где он сейчас.

– Расскажи мне о себе... – Лиса лежала не рядом, она полусидела-полулежала на мне верхом, и я чувствовал биение ее сердца. Серебряными ногтями своими она перебирала мои волосы.

– Что рассказать?

– Что-нибудь. Мне нравится, как ты рассказываешь.

– Слушай. Было это совсем даже не давным-давно. Собрались в Кремле мужи государственные, посчитали убытки от питания поганого и решили запретить родимую на веки вечные. И пришла на землю нашу очередная дурь. А была еще на нашей реке пристань Почта. И сейчас стоит, не валится. Приехали туда ученые. По хозяйству по сельскому. Опыты ставить, травы сеять, да рыбу ловить. И не было у них как раньше спирта казенного, чистого как слеза. А только жажда неизбывная и сказочная. А жили они, бедные, на базе охотничьей. Над крыльцом резным там табло висело заветное – «Разряди ружье». А рядом, прости ты нас грешных – кладбище старое, в березничке да в осинничке. Не вдали, не на о?тшибе, а прямо под окнами. Стоят трактора, ограду кладбищенскую подпирают. И захотелось ученым надраться – страсть. И приехали в гости еще один ученый. Одинокий Ветер. С канистрой браги выстоявшейся как положено, пять дней от

зари до зари. Достали тогда ученые аппарат волшебный, из стекла химического, змеевик то есть. И колбу тоже стеклянную. И уголь активированный. И марганцево-кислый калий для пущей важности. И принялись они гнать родимую под огромной луной. Как в далеких тридцатых в далекой Америке. Слово даже у них такое есть – «moonshiner», самогонщик переводится, а дословно – «лунносветлый». Или «светолунный». Или «лунносияющий». А луна, Лиса, светится как фонарь, и тихо все вокруг, и кладбище все озарено, как днем. А Одинокий Ветер еще не пил. А другие ученые уже приложились. С утра и с обеда и с вечера. Потому – сено некошенное продали. Приходила к ним дама местная, домовитая и говорит поутру – а нет ли у вас, добры молодцы, сена, как прошлый раз, с опытов ваших непонятно кому нужных. А есть, хозяйюшка, только некошенное еще. А нельзя ли у вас его за десять литров браги ядреной приобрести по предоплате. И понеслись ученые за схемами опытными и сказали даме – выбирай, родная, какое сено тебе. Вот и кострец тут, и люцерна, и прочие разносолы. Ткнула хозяйюшка в самую вкуснятину и ударили они по рукам. Сено скосить – не отчет написать. Ума не надо, косилка нужна. И поехала косилка. Сзади болталась на тракторе Т-25. Только самый главный ученый говорит студенту – ты вот тот участок, помнишь, коси, ему все равно через два дня срок – хрен с ним, сегодня скосим. А тот, помнишь, тот не

коси, ему еще месяц стоять – наука, как никак. А студент молодой был, горячий. Скосил, как потом оказалось, как раз наоборот. Я ж говорю, сено скосить – ума не надо. Косилка нужна...

– Я тебя хочу, – сказала Лиса. – Только я дослушаю сначала.

– Да? ИвыгналиЛунносветлыеродимуюинадралисьнехужеподсвинковпородистыхисъехалатутустудентакрышанапрочь...

– Нет, ты не торопись, так не интересно. Я тебя не так быстро хочу.

– ...И заорал студент, как Змей Горыныч и давай биться с кем попало, и самый главный ученый дает ему в дыню, дабы не портил, скотина, мирный пейзаж. Ан не валит его главный ученый с одного раза. И со второго не валит. И с третьего. С четвертого только, оглоблей, охуярил его кто-то, сказав: «Погодите, Иван Иванович, это не педагогично». И повалился отрок, как трава под косилкой. И раздался тут страшный хруст с кладбища, и встал мертвец из могилы, и побежали на хуй все светлолунные, крестясь обеими, Лиса, руками. И вышел он, шатаясь, на поляну, и спросил ужасным голосом: «А нет ли у вас, господа, чего похмелиться? Уж больно шумите»... Тут и сказке конец...

– А... а кто это был?

– Да бухарь местный, ебать его в сраку. Спал в канаве с вечера.

Лиса засмеялась. Она смеялась, рассыпая свой смех как звездочки фейерверка и падали они на меня, и я впился губами в ее смеющийся рот и впитал этот смех в себя.

– А еще хочешь историю? – спросил я, выдохнув, – про любовь?

– Про любовь – можно. Где наши резиночки?

– Это... под подушкой. Там есть такие, желтенькие. А еще – розовые. Тебе какие нравятся?

Лиса села на мне и потянулась. Подняла свои солнечные волосы. И отпустила их. Рыжий водопад.

– Никакие. Но, поскольку надо, то – розовые. Иногда я их почти не чувствую. Рассказывай, давай.

– Это мне вчера в бильярдной рассказали. Пошел парень в женское общежитие. Бутылочка там, тортик. К подруге пошел. Посидели, попили. Она говорит – сейчас приду, ты сиди пока. И уходит. А у парня вдруг понос. Чего, куда. Общежитие-то женское. Туалет есть в коридоре, но девки – туда-сюда. Туда-сюда. Ну никак. Что делать? Берет полиэтиленовый пакет. Гадит туда. Никого же нет. Аккуратно завязывает, не торопясь. Форточка открыта. И тут слышит – шаги его дамы в коридоре. Характерные. Не спутаешь. Размахивается. Швыряет, что есть силы пакет в форточку. И... промахивается!!!

– Ужас какой! – сказала Лиса, вскрывая упаковку с презервативом.

– В общем, она в дверь, а он навстречу и на выход вниз со всех ног! Она заходит, а там!!! И главное – никакого разумного объяснения. Секретные материалы... Смешно?

– Нет. Она, небось, неделю убирала? Ну-ка, где у тебя друг... сейчас мы его приоденем...

Сияние рыжих звезд... Первые из могикан...

Стая Одинокого Ветра-10

Собаки в своем мутном (смутном), неясном, возвеличивающем людей сознании возносят своих хозяев и любят их больше, чем те заслуживают.

Джек Лондон. «Джерри-островитянин»

В феврале в город вернулась стая. Сразу 5 человек было убито за два дня. Потом еще трое. Скот в окрестных деревнях таял. Собаки резали его среди бела дня. Я запретил Лисе появляться на базе. Дорога до нее проходила по краю леса. Я бы перешел жить к Лисе. Но куда? Их двое в комнате. Она и Людка. Общежитие. А потом – Карат, Грей, Туман...

В середине февраля начались самые ебуны. 30, 35, 37. Я пару раз сжег себе морозом соски – больно, кстати. И стал бегать в ветровке. Собакам – хоть бы хны. Грей у себя в загородке спит, считай, на снегу и в ус не дует. Карат в тамбуре с Туманом. Ну, не хотят в комнате. Привыкли. Жрать, конечно, внутрь идут. А все остальное время – на улице. Недавно по телевизору показывали фильм про Антарктику. Там собаки тоже – свернутся на снегу и спят. Занесет их снегом – одни бугорки. И никаких тебе ангин. Они вообще, чувствуют низкую температуру, нет? Вот то, что жару они плохо

переносят – это я знаю. Грей в жару лежит – труп трупом. Дышит страшно и часто. Митрич ему летом в загородке навес ставит и ведро с водой. Они ведь не потеют. И уходит тепло только с языка. А много ты с языка тепла выкинешь? Слезы.

Я бегаю теперь с ножом. Васин брательник подогнал. Конфисковал у кого-то при задержании. Здоровый, в деревянных ножнах. Сталь – зверская. Свистит аж, когда режешь. Никогда такой стали не видел. Сначала за спину его, в штаны ножнами, пихал. Но у него две заклепки металлических и обжигают на морозе. Митрич мне принес два ремешка. Теперь на правой ноге, внизу. Удобно. Вообще не мешает.

Возле нас та стая пока не появляется. Ее ищут по всем окрестностям. Два вертолета видел. Вездеходы. Прочесывают город, но в городе их нет. Их вообще нигде нет. Есть только кровавые пятна. Мистика. «Спецавтотранс» уже – народный анекдот. Газеты открываешь – и хуеешь. Валят мохнатых десятками. Кого валят – не поймешь. Собаководы рыдают. Не тех опять. Пристрелили двух милицейских псов. И одного козла. Обычного козлика. В частном секторе. То ли они вообще трезвые не бывают – как я раньше. То ли они бояться. Все ж понятно. Выехал на стройку какую, пустырь, во дворик завернул. И пошли к тебе любопытные с хвостами. Вали, не думая. Осторожные – не подойдут. Те убийцы – вообще не появятся. А глупые да

молодые, сеголетки да переярки – во все глаза будут смотреть. Как ты стреляешь в эти глаза. И не поймут, за что. И не проклянут тебя, умирая. Хорошо, есть у них врожденная память на эти фургоны. Не все идут любопытствовать. Многие чувствуют эти машины и прячутся. И с каждым поколением, с каждым новым выводком все меньше и меньше этих любопытных. Говорят, истинно бездомные по крови никогда не выходят днем. Только брошенные. Только преданные. Еще надеющиеся. Надежда умирает долго. Иногда несколько поколений. Но умирает. И тогда – светящийся вой.

Спросите меня – почему я бегаю? Каждое темное утро. И каждый сумеречный вечер. Почему не боюсь этой стаи? Это знают Карат и Грей. Может быть, Туман. Я – не знаю. Но только кажется мне, что ответ простой. Очень простой. Сердце Анубиса. Бога смерти. Я снова пишу письма Грустной Лисе на бегу...

От деревни не осталось ничего – ни одного сруба, ни одной палки. Места там гиблые, дерево гниет мгновенно. Несколько неровных, неглубоких ям – вот и все.

В тех местах вечера почти не бывает – сразу ночь. Я набрал воды из речки. Вода там изумительная, с золотистым оттенком, чуть сладковатая, а когда долго стоит – не меняет вкуса и не мутнеет. Ветер стих, сосны сонно уронили тяжелые лапы, стихли птицы – как вымерли. Из всех звуков было только слышно, как трещит костер. В котелке лениво закипал чай, до темноты

оставалось полчаса.

До бывшей деревни от костра было метров пятьсот. И вот тогда я увидел туман. Сначала это была едва заметная полоска. Я думаю, она вышла из леса. Там сразу стало холодней и пар начал конденсироваться. Это еще можно было объяснить. Но потом, без всякого движения воздуха туман пошел в мою сторону. Да и не пошел он – пополз, копируя рельеф. Он напоминал молочно-белый влажный язык или призрак королевской манти, самого большого океанического ската. А потом я поймал себя на мысли, что считаю расстояние до него.

Вот уже четыреста метров. У тумана начали расти щупальца или крылья, он стал растекаться в стороны. Он клубился, в нем стало заметно какое-то движение, он уже не казался белым. Желтоватые мраморные прожилки зазмеились сначала у самого низа, потом они превратились в ленты или полосы, извивающиеся по всему слою тумана. Теперь он уже летел с довольно большой скоростью, походил на волну и как на настоящей волне закручивались на нем барашки и было до него уже триста метров.

Верхний слой его уже не казался гладким, горбился, из него вырастали фонтаны и протуберанцы, иногда они отрывались и исчезали в темном воздухе, словно беззвучно взрывались.

За двести метров до меня поползли вперед флан-

ги и я оказался внутри подковы, беззвучно бушующей, кипящей подковы. Уже давно бурлил котелок, мне пришлось его снять, а когда я снова посмотрел в ту сторону – вздрогнул. Туман был совсем близко. В ночном воздухе он был красив и страшен. Он жил невероятной, призрачной жизнью. В нем рушились какие-то скалы и замки, извивались щупальца, рождались и поедали друг друга неведомые существа, широко открывая клыкастые рты, иногда взмывали вверх почти человеческие ладони и даже мелькали среди белого и желтого подобия человеческих лиц. Но весь этот хаос был абсолютно беззвучен и от этого казался исполненным невероятной силы и мощи. А до меня оставалось уже меньше ста метров.

Я не стал его больше ждать, я пошел к нему. Но чем ближе я подходил, тем больше боялся. Мне почему-то стало казаться, что костер очень далеко, а ночь слишком уж темная и вполне можно споткнуться – а мне совсем не хотелось падать. Мне хотелось вернуться. «Мать ее в нос, эту загадку природы», – подумал я и пошел обратно. Обратно было идти еще хуже – туман клубился за спиной, да еще и полз следом. Когда я у костра оглянулся – он был уже совсем рядом. Он был живой – в этом я уже не сомневался...

Туман не растаял, не рассеялся и его не сдуло ветром. Он ушел к себе – так я думаю. Беззвучно и неистово он проделал тот же путь и скрылся в лесу. Ни-

когда – ни до, ни после не видел я такого тумана, хотя был в том месте много раз. Когда последний молочный клочок исчез в темноте, где-то далеко в лесу ухнула сова – первый звук за вечер. А потом подул ветер, зашумели сосны и стало совсем не тихо...

Для меня это было лето горя и радости. Это было лето пограничного восприятия мира. Тогда я думал – это плохо. Сейчас я думаю – у меня не было лучшего времени. Я был полностью в будущем, у меня была бездна времени, я мог играть собой щедро и не задумываясь, я сочинял легко и свободно, я творил все что хотел... Одного я не знал – что такого лета больше не будет.

У меня был котенок по имени Фантик – черный, с белой грудкой. Пока я пил водку, он сидел рядом со мной или у меня на коленях. Потом я шел к себе в вагончик, а он семенил рядом. Он даже лез за мной в воду – где еще бывают такие коты? Он был моей тенью настолько, что когда он исчез, я понял это не потому что его нет рядом, а потому что перестал бояться – как бы ненароком не придавить его.

У меня была девочка по имени Ирма – маленькая с зелеными глазами. У меня было предчувствие любви.

У меня были сотни стихов. Я выбрасывал их. Я не жалел. Я думал – еще напишу. Каждый день я вставал с ощущением нового. Хорошего ли, плохого, но нового.

Я не плачусь в жилетку. Я тупо пытаюсь объяснить,

что все, что кажется нам придет не один раз – на самом деле имеет конечное значение. И плохого в этом ровно столько, сколько хорошего.

Но бывают моменты, когда ты уже точно понимаешь, что этого больше никогда не будет. Это убийственное, прозрачное, стойкое ощущение, его невозможно вытравить из твоего сознания, оно бьет, оно сводит с ума. Ведь, согласишься, можно отбросить в сторону даже самое прекрасное – если знать что оно еще будет, и может и не раз. А как отстранить от себя даже самую смертную тоску, зная, что ее больше не будет никогда? Как можно не выпить самый последний глоток воды, даже зная, что в нем яд?

Вот это я и почувствовал, когда увидел тебя.

Ты спросишь меня – а что дальше? Если бы да кабы я знал это. Туман. Хотя бы потому что делаем мы не то, что думаем, а думаем не то, что чувствуем.

И все равно – я хотел бы жить на этой земле вечно...

Вчера отступил от своего правила. Воскресенье. Солнце светило – как последний раз. Днем побежал. Солнце-то солнце, а мороз стоит – дышать больно. Неспелась с собаками, как три заиндедевевших призрака. У них вокруг пасти – иней. И у меня вокруг пасти – иней. По дороге бежим. Она идет вдоль реки. Справа река. Слева – поле замерзшее. Белое, искрится и лежит мертво. Нет жизни на этой планете. Нет. Только солнце. И снег.

Вертолет появился неожиданно. Я увидел сперва только два снежных фонтанчика. А уже потом услышал выстрелы. Или их эхо. В ветровке, под капюшоном, слышно плохо. Сверху, наверно, все было предельно ясно. Убегает какой-то человек от двух озверевших собак и не может убежать. Решили помочь. Стреляли не прицельно, стреляли по ходу вперед, чтобы отпугнуть. Мои псы удивленно остановились и подняли вверх головы.

– Карат, Грей, ко мне!!!

Никогда я им не приказывал. Никогда их не дрессировал. Рванули ко мне, яростно смеясь. Я сел на корточки, обнял каждого за шею. Прикрыл их своим телом. Посмотрел вверх. Помахал этим орлам рукой, дескать, улетайте, все нормально. Поняли. Сделали круг и улетели. Стало тихо. Поцеловал обоих в гнусные заиндевевшие лица. И побежали мы дальше. Нет, не надо бежать днем...

Днями я опять сижу в библиотеке. Уже тороплюсь. Потому что февраль – это фактически, март. А март – это, фактически, весна. Подготовка к посевной и все такое. 23 февраля уехала Людка в гости на всю ночь. Типа свидание у нее. И пригласила меня к себе Грустная Лиса. Тоже, типа на всю ночь. Ну и это, праздник. Я ж, как никак, офицер запаса. Не хуй собачий.

– ...Я тебе бутылку купила и гитару принесла. Сейчас петь будешь.

– А... это... аппарат воспроизведения?

– Ничего с ним не случится. Ты уже на лося похож, а не на Анубиса. На таких пахать надо.

Лиса пьет символически. Как на открытии выставки какой. Пригубит и все. Как галочку ставит. Выпила, отъебьтесь.

...И выжрал я сходу три четверти пузыря... Откашлялся. Встал. И сказал:

– Черный голубь.

Потом подумал, поправил на плече гитарную лямку и добавил:

– Фотография. Исполняется впервые... Или не впервые... Не помню, в общем!

Черный голубь, белый голубь —

Оплывай душа моя...

Станешь вечной, станешь голой

Беспокоя и маня.

Перережет песня вены —

Наливай, давай, да пей!

...Облака летящей пены,

Стаи черных голубей.

Ты забудешь утром рано

Желтоглазых птиц полет —

Черный голубь из тумана

На плечо твое падет.

Угловатый, весь кусками,
Непонятен и здоров —
Он раскинет над висками
Перья черных вееров.

С ним, беспутным, нету сладу —
Он не бился в потолок.
Не целуй его, не надо —
Он, как полночь, одинок.
С похмела придуман чертом,
Непонятен и здоров
Он посмотрит словно мертвый
Через прорези зрачков.

Жребий брошен, карта бита...
Позовет его зенит —
Черный голубь как молитва
Молча в небо улетит.
В небесах и в вечной гонке
Непохожий на людей...
Но останутся на пленке
Тени черных голубей.

Голубь белый, голубь черный —
Душу пополам разбей!
Прорастут цветы и зерна
Не для этих голубей.

Эта дурость будет сниться
Без начала и причин —
Крылья нежной черной птицы
С белым призраком свечи...

– А еще? – попросила Лиса, изрядно помолчав.

– А вот еще. – Я снял гитару и положил ее на кровать. – Гимн солнцу. Он же – гимн рыжим. Типа стих.

Рыжие да ражие, пламень да ветер,
Даже в ночь, затертую как старый пятак.
Рыжие да ражие, живут же на свете,
Живут же нахальные, да за просто так!

Заплетут горячие косы – как плети,
Залатают жизнь свою – бегом через край.
Рыжие да ражие, парус да ветер,
Полюби прохожего да умирай!

Имение по ветру, до утра, до света,
Нет у них памяти, какой с них спрос!
Рыжие да ражие – горит планета
С заливым сиянием у корней волос!

– Какие нехорошие рыжие, – с бесконечной иронией произнесла Лиса. – А прохожий – это кто?

– Прохожий – это...

Но тут раздался стук в дверь. И вошла Ирка. С бутылкой.

– Не помешаю?

– Нет, Ир, нет, – я кинулся за стулом. – Садись. Ешь, пей, гуляй. Лиса, где у нас рюмки?..

У Ирки – очень чистое лицо. Идеальная кожа. У Лисы, например, то там, то сям вечно вылезают веснушки. Она с ними борется. Когда веснушка исчезает, она испытывает состояние, близкое к оргазму. Я ей говорю – зачем, ты же ж солнышко, у тебя должны быть веснушки. Она говорит – иди в жопу, ты ничего не понимаешь. Как-то я ей говорю, есть такое древнее средство, еще египетские женщины использовали. Буквально, говорю, светлеет женская кожа на глазах. Ну и что это за средство, спросила Лиса. Маска, говорю, из мужской спермы. Ночью она меня будит. Слушай, говорит, а как? Что, говорю, как? Маску наносить? Объяснил. Он посмеялась, сказала – я подумаю. И уснула... Смешная Лиса. Веснушки у нее – как звездочки. Ну чего их трогать?

Ирка держится. Нормально держится. Светка и ее домой приглашала. Но не помнит ничего Васька. Вес набрал, пить, конечно не пьет. Забыл, видать, как это делается. Я у него был несколько раз. И заметил я в последний свой к нему приход, что не смирился его организм с этим. С амнезией этой сраной. Сидит Вася посреди комнаты в позе полулотоса и старые фотогра-

фии разбирает. На две кучки. Это вот помню. Это вот не помню. Но есть еще третья кучка, небольшая пока. И привиделся мне смысл...

Ирка пьет по-человечески. Не то, чтобы любит это дело, но без равнодушия и с настроением. Доза, правда, невелика, но вполне запоминается. И уходят с ее личика через 15 минут на некоторое время думы думные. И остается смех – спасение наше. Юмор – дар богов. Собаки это узнали раньше людей.

– ...Был у нас в институте студент по кличке Батон. Небольшого роста, но шустрый!.. У него вся жизнь – сплошной анекдот. И вот как-то он женится, все путем, свадьба, трали-вали, и все такое. Приходит как-то в понедельник с огромным синяком. Да синяк-то какой-то уж больно неприличный. Это что – спрашиваю. Светка, говорит. Жenu, то есть его Светкой зовут. Молодые, горячие. Понятно все. Но оказалось – не история, а малина. Рано утром в понедельник уезжают они на электричке из своей деревни учиться. Она – в мед. Он – в сельхоз. А жили они вместе с его родителями. Полдома им отделили. И вот утром к двери Батон подбегает – стоит его Светка и натягивает сапог. Грациозно так стоит. Попку оттопырила. Ножку вытянула. И захотелось Батону исполнить свой супружеский долг немедленно. Ну, то есть прямо сейчас. 5-6 минут у них еще в запасе было. Но на кровать – это уже не успеешь. И Батон ласково так задирает у ней все что надо и все что надо

приспускает. Светка – не против. Не чужой, как никак. Муж, все таки. И горячий, как жеребец. И стоит она с сапогом в руке, наклонившись вперед и постанывает. А тут его папа. Он – заядлый охотник. Промок на зорьке, уток доставая. В ноль промок. Сапоги чуть в болоте не потерял. И решил вернуться. Сапоги на штaketник повесил, чтобы вода стекала, куртку там, свитер – все развесил. А ружье в руках несет, поскольку вещь ценная. Зауэр. Три кольца. А раз он без сапог – то его не слышно. И открывается, значит, дверь настежь. И видит папа родной картину – не приведи господь. И глаза Светкины бездонные видит. И недоумение на лице сыночка бестолкового. И роняет папа ружье. И закрывает тут же дверь обратно, чтобы не мешать великому акту любви. Что он еще мог сделать? Разгибается Светка. Берет сапог поудобнее. И бьет Батона с оттягом что есть силы по самой что ни на есть морде каблуком. Вот ведь любовь что делает...

Ирка смеется. И Лиса тоже. Лопают шоколад без остановочно и вижу я – хорошо им. Пусть так и будет.

– Или вот еще. Только тут без матов никак. В конце будут, приготовьтесь. Первый курс. Живем вчетвером в комнате. Общежитие. Под нами – точно такая же комната. Наши девчонки там. Умницы, красавицы, скромницы и все такое. А стояк-то, труба отопления, проходит через все этажи. И выкрашивается в месте прохода цементная пробка. Образуется дырка – пять

на пять. Сантиметров, в смысле. Нам что, у нас всегда шумно – ничего у них не слышим. Они там вяжут, уроки делают, мечтают. Мы тут пьем, гуляем и темы у нас для обсуждения – известные. И песни – тоже. И анекдоты – женщины вообще таких не понимают. Мать, перемать и все такое. А у нас из четверых – только трое. Четвертый – Сережа, по прозвищу Ангел. Лицо одухотворенное такое, глаза ярко-ярко голубые. В больнице он лежал в это время. От гонореи лечился. Пакостный, гад – спасу нет. Но на вид – ангел. Отсюда и прозвище. Девчонки его всегда нам в пример ставили. Видите, какой Сережа аккуратный, вежливый, как он мило улыбается. И бреется, в отличие от вас, уродов, каждый день. Враки. Он вообще не брился – не росли у него волосы. Терпели девчонки дня два. Потом поднялись наверх и устроили комсомольское собрание. Мы эту дырку тут же зацементировали и еще сумками закидали. Но имидж, как говорится, того. Уже все. Клеймо. Здравствуй, Сережа, они там тебя, эти скоты, не обижают? Зря ты к этим уродам поселился. Испортят они тебя. Чего там портить? Нормальный мужик. Как все. А что милый – ну так это так, временно.

До стипендии два дня оставалось. Жрать хотелось – хоть вешайся. Уже неделю не пили. Кто это выдержит? Висел у нас за форточкой замороженный гусь в авоське. И тут мне приходит перевод. Денежный. Немного, но вовремя. Один урод в магазин кинулся. Дру-

гой – картошку в соседнем блоке выпрашивать. Третий урод, я, то есть, пошел гитару искать. А Сережа, не урод – полез за гусем. Снимает авоську с гвоздя. И не может удержать. И летит гусь вниз. Смотрим вниз – лежит на снегу. Тихо лежит. Беги, говорим, скотина, за гусем. Ангел в тапочках бежит вниз сломя голову. Выбегает на улицу. Ан – нет гуся. 14 секунд. Рекорд. Другой бы орал, матерился. А подлец Сережа – заржал, как конь и пошел на верх, предвкушая немую сцену из «Ревизора». На какой-то ступеньке тапочек у него с ноги слетел. Он вернулся за ним. И перепутал из-за этого этажи.

У девчат – идиллия. Вяжут, Тургенева читают, письма пишут, перышки чистят. Открывается дверь. Врывается Ангел. Идет на середину комнаты. Делает крайне неприличный жест. И говорит:

– А вот хуй вам, а не гуся!!!!

Немая сцена, конечно, была... Но в другом исполнении.

Ирка уже смеялась просто неприлично. Вытерла слезы. И опять засмеялась. Потом мы еще попели. Романы там, бисер разный. Лиса сидела рядом и кусала меня за плечо. От избытка чувств. Потом Ирка сказала:

– Пойду я. В гостях хорошо, а дома лучше. Спасибо тебе, Алкаш.

Я проводил ее до двери. И на глазах у Лисы поцеловал ее нежно в губы.

– Это тебе от Васьки. Он сам не помнит пока. Спасибо тебе.

– За что?

– За него. Не лишай ближнего надежды... Ничего не сказала Грустная Лиса. Только впилась долгим поцелуем в губы, только что целовавшие другую женщину. И упало на нас облако. И погас свет. Никогда не ревнуй. В этой жизни есть и другие. И они тоже – дети Бога. И они тоже хотят БЫТЬ. Будь щедрым. Лиса поняла это.

...Кровать в общежитии – это еще то чудо. На нем одному-то спать – и то неудобно. А вдвоем – вообще труба. А если в смысле секс – то уж лучше без всяких кроватей. Мы кинули оба матраца – и Лисы, и Людкин – на пол. И получилась сносная поляна. И не скрипит.

– ...Можешь написать мне маленькое письмо?

– Прямо сейчас?

– Да. Я буду засыпать, а ты... это... пиши. Если я засну – ты все равно пиши. Я ведь слышу тебя даже во сне.

...Мне иногда кажется, что я утопленник, а вода течет мимо и вверху проносятся корабли. Такое синее состояние души. Оно, конечно, ближе к печали, чем к радости, но он притягивает, оно нравится. Я благодарен тебе просто за то, что ты есть. За то, что есть твое тело, твои руки, твои глаза, твои волосы цвета солнца. Мне нравится, что у тебя целые, непроколотые мочки ушей, мне нравится, что ты большая, высокая и что ру-

ки у тебя меньше чем должны быть. А еще мне нравится как ты смеешься, и что ты умеешь смеяться, и что ты фотогенична. Мне даже нравится, что ты не умеешь бегать, потому что у тебя нет грации бегущего человека, но есть грация человека летящего. Летящий – это плывущий в воздухе. Вот почему мне иногда теперь кажется, что я – утопленник. Это синее, водоворотное состояние души не может существовать без далекой тени твоего тела, почти исчезающего в волнах. Время и расстояние искажают его, ты иногда вспыхиваешь, иногда сворачиваешься в призрак призрака. А толща воды бесконечна и солнце из-под воды выглядит тающим пятном света. И вечер ли, ночь – ты всегда на фоне этого пятна. Лучи солнца иногда проходят сквозь тебя и я чувствую их вкус, их запах, их теплоту. Это – почти радостное сумасшествие и остается молиться, чтобы Бог не дал мне разума увидеть все так, как оно есть на самом деле...

Стая Одинокого Ветра-11

*И тополя уходят —
но след их озерный светел.*

*И тополя уходят —
но нам оставляют ветер.*

Федерико Гарсиа Лорка. «Прелюдия»

Мы говорим с Катей уже несколько дней. Мне ничего от нее не надо и ей от меня тоже. Мы говорим, потому что нам хочется говорить друг с другом. Она умная. Это видно и чувствуется. Она сексуальная. Это не видно и чувствуется. Она целыми днями печатает на машинке и, со стороны глядя, это – так, баловство. Она могла бы не печатать и вообще не работать, а только валяться на диване и трескать грильяж в шоколаде, ожидая своего крупного ученого мужа. Но дабы не отвыкнуть от работы и быть значимой для самой себя она работает со скоростью, недоступной простым смертным. Я вижу в ней силу, которая позволит ей выжить в любых условиях. Не потому что ей повезет или так повернутся звезды или ей суждено быть счастливой... А потому что – торнадо. Оно не приманивает приятным запахом, нежным цветом или легкой музыкой. Оно вообще не приманивает. Ты его ищешь, охувший от скуки. Внутри Кати – мощь будущих легендарных кланов. Ко-

которые будут знать и уметь все...

У нее стол возле железной лестницы, ведущей наверх. Телефончик на столе. И – почтовая система. Так они ее называют. Идет труба сверху из читального зала. Оканчивается круглым отверстием над столом. В эту трубу верхняя дама засовывает цилиндрок с формулярами. Заказ. Внизу, когда цилиндрок замыкает какой-то контакт – зажигается лампочка. Катя вынимает цилиндрок, открывает его, достает формуляры. Идет по этажу своему, ищет нужное, берет книги, катит их на тележке до книжного лифта, запихивает и нажимает кнопку. И едут мысли наверх, к людям. Иногда заказы сыплются – что град идет. Но чаще – тишина.

Мне нравится смотреть, как Катя работает. Вот она пулеметит на своей машинке – пальцев не видно. Дробь дикая. Профессионал. Я, кстати, такого никогда не видел. Ей на соревнованиях только участвовать по скоростной машинописи. Вдруг зажигается лампочка. Катя заканчивает строчку – это ей нужно для сохранения ритма. Дробь обрывается. Палец летит к лючку и открывает его. Цилиндрок вываливается на ладонь. Два движения – чтобы открыть крышку и вытащить бумаженции. Она уже встает, на ходу читая формуляры. Она еще читает, на ощупь хватая тележку. И катит ее куда надо. Через 1-2 минуты она уже на месте. Через 3-4 – уже возвращается. Иногда чуть дольше. Подвозит тележку к лифту. Два движения – чтобы от-

крыть дверцу и спихнуть внутрь стопку книг. Нажимает на кнопку. Лифт еще срабатывает, думает что-то, натягивает тросики, начинает ползти вверх. Катю это уже не интересуется. В это время она уже на стуле, хрустит пальцами. Два движения – чтобы передвинуть каретку и повернуть голову вправо – на рукопись. И снова молотит машинка – спасу нет. Механизм. Часы. «Мню я быть мастером, затосковав о тяжелой работе...». Глаза у ней – как у голодной хищной птицы. Глянет – и все видит, хоть на каком расстоянии. Я называю ее – Зяблик. Хотел назвать как-то геральдически, но она маленькая. Маленькая и умная. Недаром с профессором живет. А печатает она больше диссертации для занятых людей. Ну, это те, которые будут листать свою диссертацию в ночь перед защитой и пытаться понять – о чем это вообще? Надо же, какой я умный. Ну надо же... Ну надо же!!! Я, вообще говоря, и сам неплохо печатаю. Но – только текст. А она таблицы на каком-то интуитивном уровне распределяет по листу, мало задумываясь. И цифры бьет несколько не медленнее букв. Вслепую. Феномен. А между прочим – лист таблицы стоит дороже листа чистого текста. Элитная машинистка. Клад. Она, когда нет машинописных работ – сама роется в книгах. Ее интерес неожиданен, как ее муж. Майя. Ацтеки. Ольмеки. Дохристианские южно- и центрально-американские культуры. Скажи мне, Катя, на кой это тебе. В этом есть тайна – говорит она.

И приносит мне фотографии изображений культовых храмовых собачек. Да, говорю я. Тайна есть. И впикиваю в свою уже вторую папку этих странных изнеженных тварей. У майя был свой Анубис. Его звали Нахуа Ксолотль... Странные совпадения. Тоже бог смерти. И тоже – собака.

У нее была целая неделя ничегонеделания. Балбесничала среди своих ацтеков, листала альбомы. И говорили мы с ней обо всем. Как у О. Генри. О башмаках, о кораблях, о сургучных печатях, о капусте и о королях... И о категориях не совсем семантически определяемых. Когда витает в воздухе призрак собачей свадьбы... Сквозь дым моих – крепких и ее – дорогих сигарет смотрели мы друг другу в глаза... И досмотрелись.

– ...а насколько это реально – оборотень?

– Скорее всего, Катя, ненамного. На 90 процентов – Голливуд. Чистая коммерция. Насколько реальны, например, вампиры?

– Еще как реальны. Очень тяжелое наследственное заболевание. И света они не выносят. И выглядят – куда там Дракуле. В коже накапливается химически активный атомарный кислород. Синглетный. Он и обычный, двухатомный-то активен. А тут – вообще труба. Кожа разрушается, темнеет, теряет эластичность. При живых глазах мертвая кожа производит жуткое впечатление. В некоторых индийских поселениях Южной

Америки целые семьи были такими. Вот и название даже есть, но по-испански. Не переводится. Испанский не хочешь выучить?

– Потом... А он проще английского?

– По-моему, чуть проще. Только темп речи намного больше. И другой порядок слов. Вот например – те кьеро. «Я тебя люблю».

– Так тут два слова! А не три.

– И я о том. Устойчивое сочетание. Мой профессор балдеет от испанского. Он вообще ни слова не понимает. Я ему Лорку читаю на испанском. А он смотрит, как ребенок. Он говорит – это похоже на вдохновенный мат. Что-то от зверя. От заката. От мустанга. И несется на меня, как еж на кактус.

– А ты его это... Он тебе нравится?

– Как мужчина? Да-а. И он – гений. Совершенно обалденный склад ума. И с ним – интересно. Вот например, вчера мы с ним ацтекские шахматы изобрели.

– Как это?

– У ацтеков не было шахмат. Были другие игры. А теперь, Алкаш – есть. Игра, созданная силой воображения. Знаешь, как у них ходит конь? То есть лама, коней-то не было у них.

– Как?

– Вопросом. Знаком вопроса. Доска-то – восьмигранная. Поэтому буква Г не выходит. Но выходит знак

вопроса. Лама – очень коварная фигура.

– А кто у вас выиграл вчера?

– Ничья. Три раза он. И два раза я.

– Какая же это ничья?

– А он мухлевал!!! – Катя засмеялась. – А я не заметила. Игра-то – древняя. Сразу не освоишь.

И она раскованно и непринужденно проговорила-пропела сказочно красивую фразу на любимом своем испанском.

– Ве'рде ке те кье'ро ве'рде.

Ве'рде вье'нто. Ве'рдес ра'мас.

Эль ба'рко со?бре ла ма'р.

И эль каба'льо эн ла монта'нья.

– Это что, Катя?

– Это – Лорка...

Люблю тебя в зелень одетой.

И ветер зелен. И листья.

Корабль на зеленом море.

И конь на горе лесистой...

– Обалдеть. Действительно – как еж на кактус.

– Э...

Но последние слова уже звучали внутри меня. Потому что я целовал ее губы, не зная – зачем. И падал на нас дождь из зеленых листьев.

Она ответила. Маленькие руки легли мне на плечи. Конечно, на этаже В не было никаких кроватей. Но был маленький дежурный диванчик. Я взял Зяблика на ру-

ки. И понес ее туда. Что-то мне говорило внутри, что я не должен останавливаться. Это что-то было моим старым другом, компаньоном, соперником. Я имею в виду мой организм. Он возбуждился не меньше меня, но ехидничал, скотина. Эй, амиго, сказал он. Чего, спросил я, расстегивая пуговички. А если я сейчас свалю, сказал он. А в морду, спросил я. Моя морда – твоя морда, философски изрек организм. Что-то ты сегодня умный, сказал я. Не торопись, сказал организм, видишь – не готова еще. Откуда ты знаешь, спросил я. А я и не знаю, сказал организм, я чувствую. Ты давай – своим делом занимайся, сказал я. О кей, сказал организм, амиго моего амиго – мой амиго.

...Я целовал маленькие грудки с большими, растущими на глазах сосками. Я стаскивал кружево дорогого невесомого белья. Я срывал с себя вдруг ставшую тесной одежду. Я навис над Зябликом горячей пульсирующей глыбой. Диванчик все равно был бесполезен – на нем один-то лечь не мог, не то что двое. Тогда я встал вместе со своим членом, поднял Зяблика за попку, она обняла меня всеми двадцатью руками и ногами, и вошел в нее. Статуя Анубиса. Бога смерти. Последняя версия. Она целовала меня, закрыв глаза. И трепетала, как птица. Оргазм я встретил, потеряв зрение, в полной темноте. Организм отрубался. Держи, скотина, сказал я. Что, спросил организм. Зяблика держи, говорю. А, пардон, пардон, сказал орга-

низм. И напряг все свои-мои-чужие-лишние-виртуальные мускулы. Катя висела на мне и успокаивалась. Да, кстати, спросил я свой организм, что так быстро. Ну, знаешь, возмутился организм, то ему быстро, то ему долго. Второй раз будет нормально, добавил он. Не бойсь, амиго, радостно закончил он. Я тоже.

Когда член выскользнул, не желая в следующие несколько минут иметь со мной ничего общего, Катя разжала объятия своих ног и опустилась на пол.

– Не смотри сейчас на меня, – попросила она.

– Хорошо, – сказал я, отпустил ее и отвернулся. Отошел на несколько шагов. Потянулся. Ноги немного дрожали. Но в остальном – нормально. Нормально, организм? Нормально, амиго, ответил организм, жрать только хочется. Так нету ничего, сказал я. А у Кати в сумке термос и бутерброды, вдруг сказал организм. А ты откуда знаешь, спросил я. А я и не знаю, сказал организм, я чувствую. Сзади слышались щелчки резинок и кнопочек. Потом я почувствовал на спине Катин нос.

– Ты меня не стесняешься? – спросила она.

– Нет, – сказал я, не поворачиваясь. – ну, во всяком случае, не сильно. В меру.

– Ты замерзнешь, – сказала она, – одевайся.

Я засмеялся. Для меня это действительно было смешно. Она же не знала. К концу зимы у меня была чудовищная холодовая устойчивость. Эта устойчивость даже меня самого пугала. Я не мог жить без сво-

их сугробов.

– Ты не вздумай в меня влюбиться, – сказала она, – я тоже не буду. Тебе хорошо было?

Я кивнул. Организм заорал – да, да, да, чего молчишь, амиго. Отъебись, сказал я. Да ладно, обиделся организм, тогда жрать давай...

...Я сидел голый на диванчике, а Катя лежала головой на моем одном колене. Вторая нога свешивалась через подлокотник. Катя – маленькая. Как-то уместились. Я лопал бутерброд.

– Мой профессор, Алкаш, он хороший. Только староват. И... ну, в общем, мы не часто с ним. Иногда приходится потерпеть. Зато ласковый. Не ревнуешь?

– Нет.

Никогда не ревнуй. В этой жизни есть и другие. И они тоже – дети Бога. И они тоже хотят БЫТЬ. Будь щедрым.

– Весна скоро, – сказала Катя, – поэтому так и получилось. Ты – не Анубис. Ты – Нахуа Ксолотль. Я тебя нарисую. Только больше никаких сексов. Обещаешь?

– Клянусь, Зяблик.

Организм, оторвавшись от бутерброда, заорал – а второй раз? Пошел в жопу, сказал я... скотина. Обиделся... Ладно, не обижайся, сказал я. Потом объясню... Так НАДО.

– Одевайся, – сказала Катя, – а то я не выдержу опять. Валяются тут всякие голые анубисы, проходу от

них нет... Давай, давай, одевайся.

Я встал и оделся. Не так-то это просто оказалось. Радиус разлета одежды был близок к радиусу разлета осколков гранаты РГД-5. Я что, на дальность ее кидал? Мистика...

Пока я одевался, Катя настраивала машинку. Потом вдруг раздалась уже позабытая мной за эту неделю пулеметная очередь. 500 знаков в минуту. Не хуй собачий.

– Что, заказ? – крикнул я, засупонивая ремень.

– Нет, – сказала Катя, – резко прервав артобстрел, – это тебе. На. На память.

Она протянула мне лист. Я взял его и собрался читать.

– Ну уж нет. – забрала она его обратно, согнула пополам и отдала опять, – потом прочитаешь. Не при мне. Хорошо?

– Ага. Братский поцелуй можно? И я пойду.

– Братский можно. И не братский можно. Но только – поцелуй. Ходят тут всякие анубисы, потом бутерброды пропадают...

Катя – еще тот юморист... Я буду помнить ее всегда. Через несколько лет она уедет к своим ацтекам в Южную Америку. Со своим гениальным мужем, у которого уже некуда будет девать всякие там почетные членства. А я буду помнить ее. И никогда больше не увижу.

Почему так? Бывает – ходишь за женщиной, ходишь,

даришь ей цветы, места себе не находишь, стихи ей пишешь, морды за нее крошишь, как капусту, среди ночи вскакиваешь, дрожишь от ее взгляда, как собака, ну все делаешь. Чтобы понравиться. Чтобы получить поцелуй. Чтобы переспать с ней. Чтобы влюбиться без памяти. А в одно прекрасное утро просыпаешься – нет ее. Нет ее в твоём сердце. И в памяти нет. Только усталость и безразличие. Хотя, еще вчера – скажи она – выпрыгни в окно – выпрыгнул бы. А через неделю – лень трубку поднять. А через год – вдруг с недоумением, глядя на фотографию – а кто это? А через несколько лет – и думать забыл. Как не было никогда.

И бывает другое. Не спал с ней. Или спал, но один там раз, или два. Не гулял с ней, цветов не дарил, на нож из-за нее не лез. Бывает – и не знает она тебя путем до сих пор. Кто ты для нее? Призрак призрака. Бывает – из окна автобуса увидишь ее на остановке стоящую. Три секунды. Четыре секунды. Один половой акт. Один день. Один взгляд. И помнишь ее всю жизнь. И благодарен ей. И становишься глубже из-за нее. Богаче душой. Ярче глазами. Светлее сердцем.

Через десять лет я пойму. Через десять лет я это узнаю. Есть любимые женщины. А есть – **ЗНАКОВЫЕ**. Маячные. Сигнальные. Как угодно назови. Все равно никто не поймет, кроме тебя, помнящего ее, кристальную. А секс – это так. Его ведь могло и не быть. Чтобы это изменило? Знак – он и есть знак, пихаешь ты туда

своего амиго, или не пихаешь. Правда, организм? Ага. Лучше, конечно, пихать, сказал организм. Больше философии, добавил он. Чего, удивился я. Я в гедонистическом смысле, сказал организм. Теория пролонгированного удовольствия в отдельно взятом антагонистическом «Я». Пошел на хуй, беззлобно сказал я. Да ладно, не обиделся организм, можно подумать, ты там отвлечение испытывал... Хорошая ж баба, спросил организм. Да, сказал я, очень. До сих пор кончаю...

...Памятуя Васькины слова о том, сколько может чувствовать женщина запах другой красавицы, я не пошел к Лисе ни в этот, ни в следующий, ни в последующий день. Позвонил ей, как бы весь в делах и заботах. Бег, собаки, подготовка к посевной, генеральная уборка. Диссертация и все такое. В конце последующего дня услышал я далекий голос Грустной Лисы: «Напиши мне письмо, Одинокий Ветер».

...Зачем мы растем и куда мы растем? Где наше начало и где наш край? Сколько нам лет, если считать все? Синий, бархатный цветок с вывернутыми наружу лепестками, светящимися от прикосновения. Что внутри него, что скрывает это чудо природы в густеющей темноте? Лоснящиеся, скользкие, сверкающие тычинки, они покачиваются от ветра. Вечером лужи горят на уходящем солнце, разбрызгивая звенящий жестяночный свет. Лопасти вентиляторов крутятся всегда – нет тока, но есть ветер. Я видел крутящийся вентилятор на

заброшенной военной базе. Он будет крутиться вечно.

Щемящее чувство. Зачем мы растем и куда?

Автомобили давят людей лениво и буднично – так уж устроено. Кому давить, а кому попадать под машину – так уж предписано. Мы все – жертвы дорог. Мы сами их строили. Мы всегда рождаем своих убийц и так будет всегда. Плавать и тонуть – одно и то же. Розовое, теплое, мерцающее, захлебывающееся горло. Летать и падать – одно и то же. Птицы умирают – все на земле. Будь ты хоть сто раз буревестник, ты не найдешь смерти в воздухе. Она – внизу. Страусу, наверное, легче. Куда ему летать...

Летать.

Летать и падать.

Летать, падая.

Падать, пытаясь летать.

Захлебываюсь в нежности, починаю примус, бренчу на гитаре, бегу марафоны, раскачиваю себе сознание, делаю из людей дураков – ты читаешь еще? Не читай... Нет конца дороге.

А когда-то все было ясно, и цветы были красные, и люди были бронзовые от загара, и трава зеленая – кто это помнит? Цветы пластмассовые, люди цвета хаки, трава цвета крови и солнце, солнце... Господи ты боже мой, почему темнеет среди бела дня и я брожу в темноте, словно я ночное животное. Страусу легче. Он уже не умеет летать. Он так давно летал, что даже ге-

ны его забыли чувство полета.

А на перевале лежит облако... Когда идешь через него, в легких – щекотание. Вздохнешь глубже – кашель. Капли крупные, как вишни, они не могут быть такого размера и висеть в воздухе. Но они висят. И камни обросли мхом, и деревья низкие и кривые, как на японских миниатюрах. Воздух плотный. Плотный и пьянящий. И ты идешь долго, потому что не знаешь куда идти, и каменное плато тянется бесконечно, и ты начинаешь взлетать, потому что все звуки – внизу. Ты в облаке... Навсегда.

Интересно, ходят ли лисы стаями? Увидеть бы стаю лис. Бесконечная рыжая лента, летящая навстречу ветру. Лапки – в кровь, имение – по ветру, бога – нет, прости, Господи, рыжие наши души. Звон стоит в воздухе, звон небесный. Колокола и бубенчики вопиют бедные о бессмысленности нашей жизни, что я им отвечу? Да это я и звоню. Слышит ли кто меня?

Лиса в стае не ходит. Нет такого в природе – лисья стая. И слово «ветры» тоже не звучит. Потому что ветер – он всегда один. Уходим, господа. Но, господа, ради Бога, не бросайте в колодец дохлых лошадей – чем вода-то виновата!

Зачем мы растем и куда? Убейте, господа, вон того – он знает ответ. И вырвите ему язык...

Влюбчивый я, вот что... Сдается мне, джентльмены, это была... комедия. Человек с бульвара капуци-

нов. Классика советского кинематографа. Ты, Лиса, не спрашивай меня – изменял ли я тебе когда-нибудь. А то я отвечу – да, а это ведь будет неправда... Ты, Катя, не спрашивай меня, любил ли я тебя когда-нибудь. А то я отвечу – да, а это ведь тоже будет неправда. Вот такой бином Ньютона. Квадратура круга. Что раньше было – курица или яйцо? Одни говорят – курица. Другие – яйцо. Правильный ответ знаю только я. Слушайте внимательно. Слушаете? Так вот, сдается мне, джентльмены, что раньше, все таки, был петух. В смысле мужское начало.

Такая вот теория сотворения мира. Я, Одинокий Ветер, не знаю – где тут правда. И есть ли она вообще.

Первые из могикан

*И буду я говорить об обоих духах, которые
стоят у истоков жизни, и никогда не придут в
полное согласие наши обоюдные мысли, наши
познания, наш опыт, наши слова, наши дела,
наши души.*

Заратустра

Стая, оказывается, обитала не так уж далеко от нас. Километров 10 отсюда. В самом гиблом месте леса, в низине. Там делать не хуй по умолчанию. Ни грибов, ни ягод, ничего. Летом – гнус, гниль, туман. Зимой ничего, жить можно. Лыжники из-за бурелома не ходят. И я там сроду не бегал. Там стая и жила какое-то время. Их убивали два дня. В первый прочесали всю низину. Половина ушла. Во второй выгнали их на реку, на лед. И расстреляли с вертолетов и с берега. Часа два стреляли.

Вожак крутился, как бешенный. Не вертолеты – увел бы всех через реку. Туда шел. Там тоже лес. Но там еще и овраги. Ни один черт бы их там не нашел. Но нет у собак вертолетной памяти. У некоторых волков, правда, есть. Ученые. А вот у этих – не было. Умирили на льду. Некоторые молча. Некоторые – крича. Вожак крутился. Долго в него не попадали. Потом ему некого

стало вести. И понесся он галопом прямо посередине реки, понесся в сторону плотины.

Он бежал уже не прячась и не спасая свою жизнь. Там, куда он бежал, кончался лед. И начиналась па-рующая вода. Даже тело свое мертвое не хотел он от-дать людям. И не отдал. За сто метров до воды в него попали первый раз. Вскрикнул только. За пятьдесят – второй. За тридцать – третий. А потом – ураган свинца. Он упал на самом краю, странно изогнув шею. И тогда увидели сверху странную полосу на шее. С металли-ческой пряжкой. Вертолет – тяжелый. На лед садить нельзя. Зависнуть можно, но лестницы веревочной у них не было. Рискаю жизнью, полез один доброволец ползком за добычей. К воде, к пару, к крови. Это же тро-фей – каких мало! Главарь убийц. Людоед. Но и людо-ед полз. Позвоночник уже был перебит, задние ноги не работали. Передними перебирал. Шажок за шажком, шажок за шажком.

Доброволец тоже – помаленьку, потихоньку. Лежа. Вставать уже было нельзя. Да и лежать уже было не-льзя. Но – азарт. Азарт, мать его. Уже явная глупость сквозила. Ну куда ты, куда ты? Ведь ебнешься – сразу течение под лед затащит. Умирать будешь – за что? Но не слышит доброволец голоса разума. Азарт. И – хва-тает вожака за ошейник. И рвется вожак из последних сил. И рвется этот ошейник, подрезанный пулей. И хру-стит лед совсем уж страшно. ...Человек все-таки отсту-

пил. Ну – не полный кретин. Где уж тут геройствовать. Да и за что? Зажав в кулаке ошейник, медленно полз назад, обливаясь горячим потом. Холода не ощущал вообще. Мало того – казалось ему, что лед – обжигает. Кипит вода под ним. Потому и треск. Шажок за шажком, шажок за шажком. Потом уж друзья помогли. Вытянули. Больше парень на зимние рыбалки не ходит. Потому что, когда он встал, наконец, на ноги и оглянулся – проломился лед под вожаком. И ушла в глубину умная собачья голова. Голова убийцы. Людоеда. Он погружался – как летел. Середина фарватера, как никак. Долго летел он, крутясь и переворачиваясь. Неслось над ним серебристое мутноватое небо. И появился перед ним свет. Все собаки попадают в рай. Даже убийцы людей. Такова плата. Когда доброволец почувствовал, наконец, холод, он посмотрел на свои руки. Разжал правый кулак. Задубевший от многолетней носки ошейник невыносимо вонял. А посередине его поблескивала-посверкивала маленькая такая приклепанная табличка. И прочитал доброволец слово на ней.

«Рамзес».

И номер. То ли порядковый. То ли еще какой.

Стаи больше не было. Все правильно. Выживает сильнейший...

...Это все мне рассказал Васин брательник. Я там, слава Богу, не был. Днем я не бегаю. Теперь не бегаю. Только рано утром и в сумерки. Легче бежать, интерес-

нее думать. Проще писать письма Грустной Лисе. Ведет меня мой организм, уже не спрашивая меня ни о чем. Все знает, все ведает. Куда бежать, где поворачивать, где подъем, где спуск. Где нестись надо, не чуя ног под собой. Где красться надо, как вор. Он у меня умный, организм. Наивный только, как щенок.

Через пару дней прибежал я вечером – уже стемнело. Уже не сумерки. И баян Митрича – поет птицей небесной. Грея – в загородку. Карата – тоже. Пусть пожрут. С недавних пор и Карат – казенная собака. Сторож. Получает довольствие. И злобы картинной в нем – не меньше чем у Грея. Мало кто знает, что это – комедия для него. Артист. Хотя... Статистика – вещь беспристрастная. В первой десятке колли по числу нападений на людей. Внешность – обманчива бывает. Собак, как и людей, надо сначала понять. Есть глупые собаки, есть. Как не быть. Есть отморозки конченные. Есть не способные усвоить самые простые правила. Есть ненавидящие люто даже своих хозяев. Есть самоуверенные до тупости. Есть психически больные. Так и люди такие есть. Как не быть. О-го-го сколько таких людей. И собак тоже.

А.

Хороших.

Все.

Равно.

Больше.

Статистика. Никуда от нее не денешься. Закон природы. Глас Бога. И главного Бога. И Анубиса. Бога смерти. Зашел в сторожку – дым коромыслом. Обрадовались мне, по старой памяти. И шурин тут Митричев, и друган его, и еще кто-то. Водка, глотка, селедка. Все как надо. Пить отказался сразу. Но селедка жирная, тихоокеанская – слезой истекает, вся в горошках черного перца и на срезе – нежная, чуть-чуть розоватая. Я, конечно, красную рыбу тоже люблю. Царица, класика. Но к сельди у меня особое отношение – еще со студенчества. Потому что у нее родной какой-то, плазменный, древний и неувядаемый вкус. И, кстати, если уж говорить совсем откровенно, то к вареной картошке партнера лучше еще никто не придумал. Ну, нет его. Стих как-нибудь напишу. Сельдь и картофель – близнецы-братья. Когда стоит водка, выгнанная из солнца... В тишине звенящей слетаются похмеляться ангелы... И капает серебристая слюна из их алчущих ртов... Ну, или еще как-нибудь... Времени у меня много. Сельдь еще тоже не всю выловили.

Пока я жрал сельдь, шурин вытащил из-под топчана самую грязную сумку в мире. В ней что-то шевелилось.

– Это что? – спросил я.

– Убийца, – ответил шурин и поднял из сумки за шкурку упорно извивающего щенка. Он молчал, но крутился, как калифорнийский червь на крючке. Черный весь, с рыжими подпалинами на животе. Черные гла-

за. Черный рот. И хвост-сосиска. Тоже, разумеется черный. С белым кончиком. Красивый щенок.

– Из леса. – продолжил шурин. – В стае было две кормящих суки. Мы с другом узнали случайно. Постановление там какое-то приняли. За собаку – три бутылки водки. В пересчете, конечно. Вот, сегодня трупы собирали по лесу. Живая собака, мертвая – поебать. Все равно платят. Стреляют еще до сих пор. Раненные – кто ускакал на троих, кто ползком. Без собак трудно найти. Не идут овчарки в лес. Никто не знает – почему. Ну, да насрать. Четверых мы сегодня подняли. Двенадцать бутылок.

– А этот? – спросил я, вытирая руки о газету. – Дайка его сюда...

Я взял его на руки и немедленно почувствовал остроту мелких быстрых зубов. Вцепился, подлец – даже не задумался. Силы в зубах еще не было. Но была жажда жить. Я аккуратно разжал ему пасть и посмотрел внутрь.

– Да смотрели уже. Черным-черно... – сказал друган.

Я знал эту приметку. Все знали. Пасть черная – значит, злой будет.

– А этого – тебе принесли. Колька сказал – ты больше дашь...

– Правильно сказал. Двойной тариф. Без базара. Сейчас принесу. – и я сунул убийцу за пазуху, под ве-

тровку. Щенок там повозился, не нашел, во что путем вцепиться и затих.

...Я в этот раз сдуру оставил Тумана в комнате. Войдя в нее, я тут же пожалел об этом. В воздухе витали радостные перья и пушинки из моих двух любимых подушек – моей и Лисы. Туман смотрел на меня снизу и не просто вилял хвостом от радости, нет, это было искреннее, дружелюбное, акробатическое движение всей задней половины тела. В его глазах светилась бесконечное блаженство от того, что он теперь не один. Собачий подросток улыбался всеми зубами и был счастлив. Я почесал затылок. Дилемма. Отпиздошить подлеца – может не понять, за что. Да и жаль. Оставить без реакции – то же, знаете ли... Не фонтан. Беру героя Троянской войны аккуратно за шкуру. Несу засранца к лежащей на полу подушке, вернее к тому, что от нее осталась. И тыкаю его носом в пух и перья. Туман фыркает и упирается лапами. Понятно, не нравится. Попутно говорю:

– Если еще раз... эта сиволапая скотина... возьмет хоть одну подушку... Хотя их уже нету... Ну ладно... Если еще раз этот злоебучий выродок... испортит у меня в комнате хоть один предмет... харя твоя протокольная... то он всю жизнь будет питаться одной овсянкой. Без мяса.

Туман упирался как лев. В конце концов в его мозгу созрело что-то типа пятна понимания. Или легкого кок-

тейля из осознания вины и азарта сопротивления. Когда я отпустил его – он сел и начал чесать задней лапой ухо. Да ладно – говорила вся его поза. Делов то... А на хуя меня тут запирать тогда? Сам, небось, лапы разминал? Нужна мне теперь твоя подушка... Просто она курицей пахнет. Вкусно. Да, кстати, перестал чесать себя Туман. Жрать принес? Вместо ответа я сунул руку за пазуху и достал убийцу. Туман охуел тут же. Это что – мне? На ужин? Во, ты глянь какой!!! Я смотрю – что это от тебя запах какой-то? Убийца сел на жопку и угрюмо посмотрел на Тумана. Туман вытянул свое беспородное до гениальности лицо и стал методично обнюхивать черный комочек. Уши, нос. Шея, спина, лапы. Ну-ка, жопу дай изучить! Жопа, как жопа. Ты кто, спросил убийцу Туман, когда прекратил его обнюхивать. Молчал убийца. И вдруг лизнул Тумана в нос. Ничего необычного. Жест подчинения. И голода тоже. Потому что так они просят у взрослых вкуснятину. Туман пожал плечами. Ну, как бы пожал. Хуй с тобой, живи, черненький. Но вон там мячик лежит – это мой. Пойдем, покажу.

... Соска у меня была. От маленького Тумана осталась. Он ее практически не сосал – у него, когда я его нашел, уже уходил этот рефлекс. Два-три раза всего и приложился. А убийца – сколько ему от роду? Будешь сосать, нет? Или лакать сразу? Хрен тебя знает, не поймешь твой возраст. Зубки есть. Острые. А мам-

ку-то сосал еще? Или нет? Молока, конечно, у меня не было. Нормального. Сухое было. Намешал, согрел, налил в бутылку, в пасть его черную сунул. Выплюнул сначала. Только губы облизал. Но потом – как с цепи сорвался. И уебашил всю бутылку без передышки. Туман крутился возле ног. А я что – не люди? Я тоже хочу. Давай, давай. Я же ж расту. Я же ж хороший. Я же ж маленький. У меня сейчас обморок голодный будет. Напихают перьев в подушки. А курицы-то там нет. Где курица? Сам съел?

Туман на стол кухонный залезть еще не может – высоковат он для него. Если рядом табуретка, то – да. В принципе. А так – нет. Взял я со стола кастрюлю с овсянкой, бухнул ему миску богатырскую. Жрет, сопит, летит овсянка во все стороны. Для запаха я туда чуть-чуть мяса сырого крошу. Хитрость дремучая, а действует. С такой добавкой собака гуталин съест. Проверено. Карат, тот и без мяса трескает. Предпочитает, конечно, с мясом. Но и без мяса – ничего. А Туман – ни в какую. Умрет, подлец, от голода, а харю свою в миску не сунет. У каждого – свое. Собаки все разные. Как написано в одной умной книжке – обладают ярко выраженными личностными характеристиками. Такие вот пироги.

И тут заходит Грустная Лиса. С работы. Все, отбой тревоги. Стаи нет, живет теперь у меня. Подошла вся сверкающая, две веснушки горят на лице, еще не за-

меченные ею. Не скажу. Пусть поживут. И обняла меня. И спрятала свои веснушки у меня на груди. Не замечая летающих по воздуху перьев.

– Я чуть раньше. Соскучилась. Есть хочешь?

– Ага... Я тебе письмо написал. Прочитать?

– Конечно... А что это за дурдом в воздухе?

...Химеры окружают нас. Они глядят нам вслед, караулят в темных переулках, они готовы напасть или красться за нами или сосать из нас кровь. Они – такие, какими мы их себе представляем. Собственно – это мы сами. Наш мир буквально набит по горло сотнями, тысячами, миллионами невидимых существ, имеющих на нас такое же влияние, как и физические вещи. Что мы о них знаем? Считается, что ничего, или почти ничего. А недавно я понял, что мы знаем о них очень многое. Все дело в уровнях (воплощениях, ипостасях и т.п.). Ну, скажем, цветок – это и биологический объект, и сложная геометрическая фигура, и поэтический образ, и еще много чего. Тоже и человеческое сознание. Уровень бодрствования, уровень наркотического изменения, уровень глубокого сна, уровень быстрого сна... И уровень смерти. И еще какие-то. Сколько раз, проснувшись, я осознавал, что только что – секунду, полсекунды назад я забыл важную вещь из того уровня. Словно кто-то не дает проникнуть нашему абсолютному «я» из одного состояния в другое, словно кто-то оберегает нас от знания нас самих. И как-то до меня дошло, а по-

том это я уже прочитал, что на разных уровнях нашего сознания мы сами разные. И как два отдельных человека (даже близких!) имеют друг о друге только приближенное представление, так и два уровня (воплощения) одного человека могут дублировать друг друга, в чем-то быть сходными; но ведь могут быть и разными и даже враждебными. Тогда вопрос – где бродит это чужеродное состояние во время жизни другого? Может быть, спит в коконе, цисте, споре; может, живет одновременно в соседнем купе уходящего под откос поезда? Вот они – химеры. Вот что рождает чудовищ с глазами ангелов. Вот что витает в воздухе и вот что убивает наши физические тела. В этом хаосе общего вагона, где все временное – и сам поезд, и попутчик, и даже проводник, нет места доброте. Но ведь мир живет, с трудом, но живет. Значит что-то его организует и значит кто-то приручает этих химер. Я раньше думал – жесткая сила, Космическая Овчарка, Начальник Поезда, единственный, кто знает – куда мы едем и, значит, в конце концов – это страх. Но страх не может творить. Заставлять может, разрушать может тем более. Но творить – нет, это не в его власти.

Ты ответишь сама на этот вопрос, я не буду тебе мешать. В этом поезде, грохочущем, огромном, обуреваемом гордынями никто не знает, что Начальника Поезда давно нет. В его служебном купе испарился чай и стучит ложечка о край стакана, стучит уже целую веч-

ность. И лежит на столе форменная фуражка с непонятной кокардой смерти. А рядом открытый блокнот и страница в нем белая, как и миллион лет назад. Впиши туда слово, я знаю – ты можешь. Ты теперь все можешь, потому что я тебя выдумал.

Выдумал, как сотни других существ, нежных и сильных, гордых и сверкающих, цвета воды и цвета летней ночи. Это моя боль и мое откровение. И ты перестала быть прежней. И живут в сердце моем рыжие твои звезды.

Мир темен и угрюм. Сух и беден. Громаден и нелюдим. Я – Одинокий Ветер, проходящий тенью сквозь время и пространство. Путь в темноте. Путь в никуда. Путь, который мне предначертан. Безымянный путник среди чуждых ему планет. Я смотрю – как меняется мир, я впитываю его, я сознаю его совершенство даже в черных его красках. Я выдумал тебя. Я нарисовал твой портрет, я сделал тебе грим, я вылепил твой образ из глины. И пока ты рядом со мной, в эти краткие, всегда краткие для меня, промежутки времени – мир меняется. И мы меняемся вместе с миром. Ради этого стоит иногда не видеть тебя, ради этого стоит идти в темноте, ради этого стоит жить и, наверное, умереть...

Мы с Лисой убирали пух с перьями часа полтора. То есть сначала мы убирали с пола, потом ждали – когда приземлятся остатки и убирали еще. Туман в этом участии не принимал. Он гордо изучал на улице уже на-

чинающие умирать сугробы. Потом Митричвыпустил Грея с Каратом. Уже втроем они пошли на обход территории. А черный убийца сидел все время в углу комнаты и хотел спать. Он засыпал сидя, ронял голову, но вдруг вскидывал ее и угрюмо смотрел перед собой. За окном стемнело напрочь. Лиса сидела перед щенком на полу, обняв свои колени и смотрела на него. Я подошел, сел рядом.

– Он не страшный, – сказала Лиса. – Кем он станет? Все-таки – гены. Память крови. А вдруг тоже будет убивать? Он не страшный, но я его боюсь... Я не смогу его полюбить, Ветер. Не обижайся. Может, отдать его?

– Его даже продать можно. И дорого. Но я не буду. Ведь тогда из него наверняка сделают пугало. И будет он сидеть где-нибудь в вольере, на котором будет прибитая табличка. Что-нибудь типа «Людоед». Надо дать ему имя. Хорошее имя. Ведь имя – это половина судьбы. Лиса... что у тебя в жизни было самое хорошее? Самое теплое. Самое ласковое.

– Ты, – засмеялась она. – Только не говори «было». А то я тебя покусаяю... Пусть будет Май! Весна, солнце, одуванчики...

– Так сейчас март!

– Ну и что! «Март» – еще холодное слово. А «май» – уже нет.

Я протянул руку к щенку. Угрюмый черный комочек пошевелился. Он уже устал бороться со сном. Почему

он не решался заснуть – я не знал. Может быть, его братишки с сестренками умерли во сне. Может быть, однажды проснувшись, он не нашел рядом свою мать. Может быть, сон означал невозможность постоять за себя. И щенок всеми лапами отгонял от себя сон. Я протянул к нему руку. Сквозь уже снящиеся голоса и запахи Май смотрел на нее и из последних сил отстранялся. Рука в его глазах не была враждебной. Мало того, она пахла сухим молоком. Проваливаясь в сверкающую бездну, Май вдруг перестал сопротивляться. Он – все еще не верил руке. Но он уже не боялся ее... Имя – половина судьбы. Пес по имени Май никогда не узнает вкус человеческой крови. Может быть, так и надо... Столько вокруг Тайфунов, Ураганов, Рексов, Цезарей. Клички – приговоры. Барс, Гатор, Ассассин... Фобос, Рамзес, Мессалина... Нерон, Атилла, Шарк... Буян, Кербер, Танатос... А у нас – Май! Лиса – умница...

Я не знаю – шаг ли это к царству божьему.

Но это шаг к свету.

И значит – не зря...

© Бригадир, 1999-2004